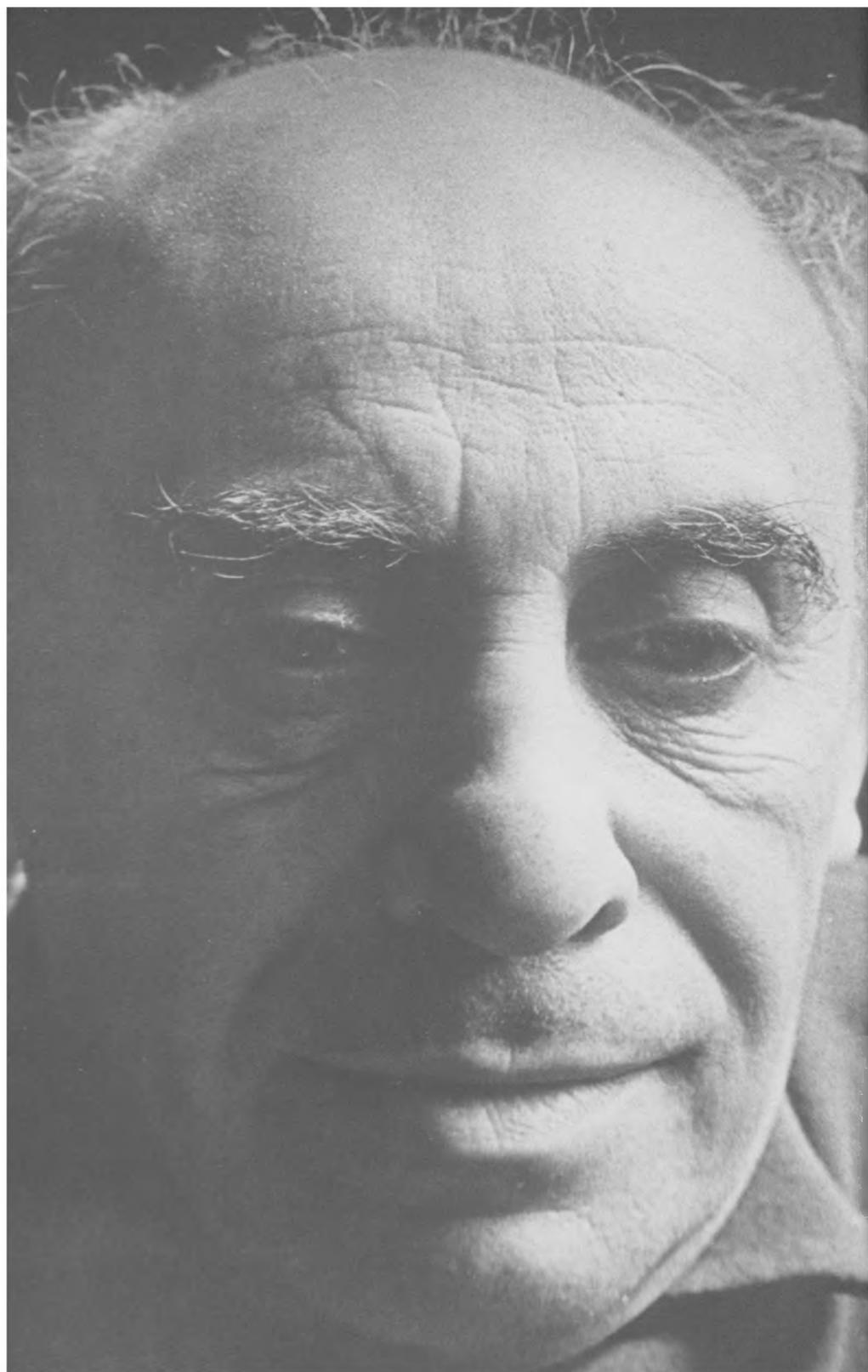


A sepia-toned illustration of a forest. The scene is dominated by several large, gnarled trees with thick trunks and dense, leafy canopies. The lighting is soft, creating a sense of depth and texture in the bark and foliage. The overall mood is quiet and somewhat somber, fitting the title of the book.

Семен Липкин

КОЧЕВОЙ ОГОНЬ





Семен Липкин

*КОЧЕВОЙ
ОГОНЬ*

Ardis, Ann Arbor

Copyright © 1984 by Ardis

All rights reserved. Printed by Mitchell-Shear, Inc., Ann Arbor, Michigan. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electric, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the written permission of the publisher, Ardis, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan 48104 USA.

Cover design by Alix Melbourne.

Library of Congress Cataloging in Publication Data

Lipkin, Semen Izrailevich.
Kochevoi ogon'.

I. Title.

PG3476.L597K6 1984

84-20361

ISBN 0-88233-988-5

ISBN 0-88233-989-3 (pbk.)

КОЧЕВОЙ ОГОНЬ

СТИХОТВОРЕНИЯ



Есть прелесть горькая в моей судьбе:
Сидеть с тобой, тоскуя по тебе.

Касаться рук, и догадаться вдруг,
Что жажду я твоих коснуться рук,

И губы целовать, и тосковать
По тем губам, что сладко целовать.

1937

ЧАБАН

Чабан, коня поставив на приколе,
Заснул, не закрывая глаза карего.
Две-три кибитки в диком чистом поле.
Над полем небо, а на небе — марево.

Здесь рядом насыпь свежая с курганом,
С могилами бойцов — могилы схимников.
Здесь пахнет сразу и речным туманом,
И горьким кизяком из темных дымников.

Здесь медленные движутся верблюды,
Похожие на птиц глубокой древности,
И низкорослы, и широкогруды,
Здесь люди полны странной задумчивости.

Здесь, кажется, нет края серой глине.
Пустыня. Суховой поднялся надолго,
И побелели корешки полыни,
И пылью красная покрылась таволга.

Пустынна степь, но за степною гранью
Есть мир другой, есть новая вселенная!
Вставай, беги, скачи к ее сверканью!
Заснул чабан, заснула степь забвенная.

Не так ли дремлешь ты, душа людская,
Сухая, черствая. . . Но вспыхнет, зарево,
И ты сверкнешь — прекрасная, другая,
Таинственная, как степное марево.

1940

Калым-Базар

ГОРОДОК

Молодой городок.
Лебеда и песок
И уродливые дома.
Ни прохлады, ни цвета,
Суховейное лето,
Отвратительная зима.

Я тебя навещал,
Приезжать обещал,
Признаюсь, не очень любя.
Отчего же, угрюмый,
Ты вошел в мои думы,
И забыть мне трудно тебя?

А какой в тебе прок —
Самому невдомек!
Не забыл тебя ради той —
Смуглолицей, учтивой,
Узкоглазой, красивой?
Пропади она с красотой!

Ради милых друзей?
Ради песни моей?
Чепуха, суета, обман!
Я друзей не взлелеял,
Ветер песню развеял
Словно легкий, слабый дурман.

Ради трудных годов?
Ради чистых трудов?
Я не их на помощь зову.
Тут причина другая,
И ее постигая,
Вижу: август зажег траву.

И один пешеход
Перед взором встает.
Он идет, не зная куда,
Невысокий, несмелый,
На траве обгорелой
Озирается иногда.

Справа — светлый простор.
Слева — серый бугор.
На бугре ликует базар.
Женский смех, разговоры
И веселые шпоры
Кривоногих, шумных мажяр.

Ослабел он в пути,
А не смеет войти
В городок, где шпоры звенят,
Где его не забыли. . .
Побелевший от пыли,
Он пойдет назад, наугад.

Край родной, край родной,
В этой шири степной
Сохрани его, защити!
Чтоб чужого не встретил,
Чтоб и сам не заметил,
Как сумел он к своим дойти!

Как с надеждой к своим
Он пришел невредим,
Как в душе сберег навсегда
Городок нелюбимый,
Где суровые зимы,
Суховой, песок, лебеда.

1944

БАЛЛАДА О НЕЛЕПОМ СЛУЧАЕ

Овечьих стад не отличить от облачных,
И всюду пыль: ее не смоем.
Овечьих стад не отличить от облачных,
И пыль звенит и веет зноем.
На всех широкополых шляпах войлочных
Она лежит мучнистым слоем.
Нет сил идти солдатам в шляпах войлочных,
А стать на отдых не дано им.

Мы поделились утром с офицериком
Неосторожными словами,
С таким светловолосым офицериком,
С лицом, горящим волдырями:
— Удастся выйти нам к своим за Тереком?
А он в ответ развел руками:
— Поможет случай нам, тогда за Тереком
Передохнем, быть может, с вами.

А пыль какая, грязь какая, Боже мой,
На людях, конях и подводах!
А высь какая, даль какая, Боже мой!
Вдруг вспыхнет в горных переходах!
Мы сбросим ношу скорби, вечно множимой,
В быстротекучих бурных водах,
Мы сбросим ношу скорби, вечно множимой,
И станем наконец на отдых.

Но офицер поверил в силу случая
И был убит в нелепой стычке.
Но офицер поверил в силу случая
И был убит в нелепой стычке.
А Терека вода быстротекучая
Верна божественной привычке.
— Куда бежишь, вода, быстротекучая?
— Бегу, верна своей привычке.

1944

ШТАБНАЯ СИМФОНИЯ

Лесных цветов счастливый
Утренний плач.
Уют неприхотливый
Брошенных дач.
Все прелести штабной картины,
Столы, столы. . .
Гул повторяют орудийный
Деревьев грубые стволы.

Владельцы этих зданий
Где-то в бегах,
В Сибири, в Туркестане,
В камских снегах.
Они здесь жили, как пришельцы,
Ушли в тылы,
А настоящие владельцы —
Деревьев грубые стволы.

Хотя б от них остался
Запах иль цвет!
Хотя бы вздох раздался
Чей-нибудь вслед!
Ушли, как ночь уходит в воду,
Как тени мглы,
И равнодушны к их уходу
Деревьев грубые стволы.

Здесь верить не умели,
Веря, страдать,
Смеяться в дни веселий,
В скорби рыдать,
Здесь ели много, пили много,
Боясь хулы.
Но кто ж хранил дыханье Бога?
Деревьев грубые стволы!

Отдел оперативный
Ходит волчком.
— Что делаешь, противный,
Люди кругом!
Целует Верочка майора
Гасан-Оглы.
Их тайну выболтают скоро
Деревьев грубые стволы.

И пусть мы негодуем,
Шутим, ворчим,
Но этим поцелуем
Наглым, смешным,
Облагорожен гул горячий
И дух золы,
И эти брошенные дачи,
И эти грубые стволы.

1944

ПОСЛЕДНЕЕ ТЕПЛО

Осень листья закрутила, погнула.
Ломом желтеют аллеи берез.
Это не смерть ли сейчас промелькнула?
Это не я ли сейчас произнес:

— Сердцу не страшен таинственный жребий, —
Страшно подумать в последнем тепле:
Не наслаждался я солнцем на небе,
Милым народом своим на земле.

1944

У РУЧЬЯ

От платформы, от шума, от грубых гудков паровоза
В получасе ходьбы,
В тайнике у ручья уцелелала случайно береза
От всеобщей судьбы.

Оттого ли, что корни пустила в неведомый глазу
Небольшой островок,
Но дыхание горя еще не ложилось ни разу
На блестящий листок.

Каждый лист ее счастлив, зеленый, веселый, певучий,
Кое-где золотой,
Только ветви ее, только белые ветви плакучи
И шумят над водой.

От нее, от блаженной, на вас не повеет учащем,
Ей недуг не знаком,
Только вся она светится полным, осмысленным
счастьем,
Не отравленным злом.

Я, узнав, полюбил простодушное это величье,
Самобытный покой,
Этот сказочный свет и младенческое безразличье
К скучной скорби людской,

Этот взлет к небесам, этот рост белоствольный,
могучий,
Чистоту, забытьё. . .
Полюбил, а понять не сумел: отчего же плакучи
Ветви, ветви ее?

1946

МОРЮ

Тени заката сгустились в потемки.
Город родной превратился в обломки.

Все изменилось на нашей земле,
Резче морщины на Божьем челе,

Все изменилось на нашей планете,
Умерли сверстники, выросли дети,

Все изменилось и прахом пошло,
А не пошло, так бьльем поросло!

Все изменило мечте и надежде,
Мы, только мы, все такие ж, как прежде:

Так же брожу у твоих берегов,
Так же моих ты не слышишь шагов.

1946

НА ТЯНЬ-ШАНЕ

Бьется бабочка в горле кумгана,
Спит на жердочке беркут седой,
И глядит на них Зигмунд Сметана,
Элегантный варшавский портной.

Издалека занес его случай,
А другие исчезли в золе,
Там, за проволокою колючей,
И теперь он один на земле.

В мастерскую, кружась над саманом,
Залетает листок невзначай.
Над горами — туман. За туманом —
Вы подумайте только — Китай!

В этот час появляются люди:
Коневод на кобылке Сафо,
И семейство верхом на верблюде,
И в вельветовой куртке райфо.

День в пыли исчезает, как всадник.
Овцы тихо вбегают в закут.
Зябко прячет листы виноградник
И опресноки в юрте пекут.

Точно так же пекли в Галилее,
Под навесом, вечерней порой. . .
И стоит с сантиметром на шее
Элегантный варшавский портной.

Не соринка в глазу, не слезинка, —
Это жжет его мертвым огнем,
Это ставшая прахом Треблинка
Жгучий пепел оставила в нем.

1948
Токмак

ТОПОЛЯ В ГУНИБЕ

Многоярусный, многостойный,
Прежде яростный, ныне спокойный,
Поднимается к небу Гуниб.
Не сгорел. Не исчез. Не погиб.

Ничего, кроме камня и славы,
Не осталось от дней Шамиля.
Ничего. Лишь одни тополя
Сохранили свой отсвет кровавый.

Я слышал от людей: русский князь
В знак победы велел посадить их.
Высоко их семья поднялась,
Но молчат о суровых событиях.

На вершине гранитных громад
Ныне праздно зияют бойницы.
Там виднеется зданье больницы,
Рядом школа, при ней интернат.

А на площади сонные парни
Ждут чего-то у входа в райком.
Пахнет мясом, вином, чесноком,
Кукурузным теплом из пекарни.

Что же смотрят на все тополя
С выраженьем угрюмой обиды?
Мнится мне: то стрелки Шамиля,
То его боевые мюриды.

1950

СНОВА В ОДЕССЕ

Ярко-красный вагончик, кусты будяка,
Тишина станционного рынка,
И по-прежнему воля степная горька,
И как прежде, глазами, сквозь щелку платка,
Улыбается мне украинка.

Оказалось, что родина есть у меня.
Не хотят от меня отказаться,
Ожидая, тоскуя, мне верность храня,
Кое-где пожелтев среди летнего дня,
Молчаливые листья акаций.

Оказалось, что наши родные места
И меня признают, как родного,
Что по-прежнему море меняет цвета,
Но ко мне постоянна его доброта,
Неизменно щедра и сурова.

Я в развалинах столько квартир узнаю,
Столько лиц, дорогих и знакомых,
Этот щебень я знаю, как душу мою,
Здесь я жил, здесь я каждую помню семью
В этих мертвых оконных проемах.

Пустыри невысокой травой заросли,
Что прожилочкой каждой близка мне.
Будто сам я скрывался в подпольной пыли,
Будто сам я поднялся на свет из земли,
С непривычки цепляясь за камни.

Черт возьми, еще пляшет кожевненный цех,
Подпеваает игла с дребезжаньем.
Я — поэт ваш, я злость ваша, мука и смех,
Я — ваш стыд, ваша месть, обожаю вас всех
Материнским слепым обожаньем.

Это море ночное с коврами огня,
Эти улицы с грубой толпою,
Это смутное чаянье черного дня. . .
Оказалось, что родина есть у меня,
Я скреплен с ее тяжелой судьбою.

1952

СЫН И ОТЕЦ

Черный памятник горя и славы. . .
На тарелке фарфоровой, гладкой
Снят студент, большеглазый, кудрявый. . .
Не уйти из овальной оправы
Вместе с надписью краткой.

Стал он воздухом, горсточкой пыли,
Влился в небо, и в море, и в сушу.
Нет могилы: не в мрачной могиле,
Не в земле, а в душе схоронили
Эту юную душу.

Ничего от него не хотели,
Ни предательства, ни отречения,
Ни участия в разбойничьем деле
И, казалось, без смысла, без цели
Обрекли на мученья.

Хлопотать и не думал о брони,
Воевал, долг исполнил сыновний,
В плен попал в подмосковном районе,
Увезли его утром в вагоне,
Задушили в газове.

Долго дома, на родине, ждали
И внушали надежду невесте,
И пытались не верить печали,
Со слезами на картах гадали
О пропавшем без вести.

Кто сказал, что печаль ожидания
Иссякает, как реки в пустыне?
И отца, — он искал сострадания, —
Увезли на рассвете в машине,
Чтоб не плакал о сыне.

От него душегубы хотели
И предательства, и отречения,
И участия в разбойничьем деле,
И во имя палаческой цели
Обрекли на мученья.

Порешили, что сдастся он вскоре,
И надеялись переупрямить,
Но отец победил в этом споре:
Он боролся за право на горе
И на вечную память.

Он в комок превратился кровавый,
Умирал он в тюремном подвале, —
Судия непреклонный и правый,
Полный силы, и света, и славы,
И великой печали.

1954

БОГОРОДИЦА

1

Гремели уже на булыжнике
Немецкие танки вдали.
Уже фарисеи и книжники
Почетные грамоты жгли.
В то утро скончался Иосиф,
Счастливец, ушел в тишину,
На муки жестокие бросив,
Рожавшую в муках жену.

2

Еще их соседи не предали,
От счастья балдея с утра,
Еще даже имени не дали
Ребенку того столяра,
Душа еще реяла где-то
Умершего сына земли,
Когда за слободкою в гетто
И мать, и дитя увели.

3

Глазами недвижимыми нелюди
Смотрели на тысячи лиц.
Недвижны глаза и у челяди —
Единое племя убийц.
Свежа еще мужа могила,
И гибель стоит за углом,
А мать мальчугана кормила
Сладчайшим своим молоком.

4

Земное осело, отсеялось,
Но были земные дела.
Уже ни на что не надеялась,
Но все же чего-то ждала.

Ждала, чтобы вырос он, милый,
Пошел бы, сначала ползком,
И мать мальчугана кормила
Сладчайшим своим молоком.

5

И яму их вырыть заставили,
И лечь в этом глиняном рву,
И нелюди дула направили
В дитя, в молодую вдову.
Мертвящая, черная сила
Уже ликовала кругом,
А мать мальчугана кормила
Сладчайшим своим молоком.

6

Не стала иконой прославленной,
Свалившись на глиняный прах,
И мальчик упал окровавленный
С ее молоком на губах.
Еще не нуждаясь в спасенье,
Солдаты в казарму пошли,
Но так началось воскресенье
Людей, и любви, и земли.

1956

НЕПРИКАСАЕМЫЙ

Одних влечет к себе Киприда,
Других — мадонны тихий свет,
У этих в сердце — чудный бред,
У тех — мужицкая обида,
А я в эпоху геноцида
Неприкасаемый поэт.

1957

АКУЛИНА ИВАНОВНА

У Симагиных вечером пьют,
Акулину Иванову бьют.

Лупит внук, — не закончил он, внук,
Академию разных наук:

„Ты не смей меня, ведьма, сердить,
Ты мне опиум брось разводиться!”

Тут и внука жена, и дружки,
На полу огурцы, пирожки.

Участковый пришел, говорит:
„По решетке скучаешь, бандит?”

Через день пьем и мы невзначай
С Акулиной Ивановной чай.

Пьет, а смотрит на дверь, сторожит.
В тонкой ручечке блюдце дрожит.

На исходе десятков восьмой,
А за внука ей больно самой.

В чем-то держится эта душа,
А душа — хороша, хороша!

„Нет, не Ванька, а я тут виной,
Сам Господь наказал его мной.

Я-то что? Помолюсь, отойду
Да в молитвенный дом побреду.

Говорят мне сестрицы: „Беда,
Слишком ты, Акулина, горда,

Никогда не видеть твоих слез,
А ведь плакал-то, плакал Христос.”

1960

ЗАЛОЖНИК

От Москвы километров отъехали на сто,
И тогда мимо нас, как-то царственно вкось,
Властелин-вавилонянин с телом гимнаста,
Пробежал по тропинке породистый лось.

Князь быков, жрец верховный коровьего стада,
Горбоносый заложник плебея-врага,
От людей не отвел он бесслезного взгляда,
И как знак звездочета темнели рога.

Он боялся машин и дорожного шума,
Как мужчины порою боятся мышей,
Был испуг маловажен, а важная дума
В нем светилась печальной сутью вещей.

Побежать, пожевать бы кипрей узколистый,
А свобода — в созвездиях над головой!
Пленник мира, на мир он смотрел ненавистный,
На союз пожирателей плоти живой.

1960

МЕРТВЫМ

В этой замкнутой, душевной чугунности,
Где тоска с воровским улюлю,
Как же вас я в себе расщеплю,
Молодые друзья моей юности?

К Яру Бабьему этого вывели,
Тот задушен таежною мглой.
Понимаю, вы стали золой,
Но скажите: вы живы ли, живы ли?

Вы ответьте, — прошу я немного:
Там, в юдоли своей неземной,
Вы звереете вместе со мной,
Низвергаясь в звериное логово?

Или гибелью вас осчастливили
И, оставив меня одного,
Не хотите вы знать ничего?
Как мне трудно! Вы живы ли, живы ли?

1960

САД НА КРАЮ ПУСТЫНИ

Сад роскошен, высок и велик.
В темноте растворилась ограда.
Лают псы, чей-то слышится крик.
Словно голубь, воркует арык.
Лишь молчит население сада.

Что ему в этих звездных очах,
В дальней ругани, в пьяных ночах,
Где тревога и горе таятся,
Где в пустынных ревет камышах
Тигр в оранжевых брюках паяца.

Для чего ему, саду, слова,
Если ветками яблони всеми
Доказал он, что правда жива,
Что недаром полны торжества
И бесстрашны плодовые семьи.

Только я, вот, на каждом шагу
Должен мыслью обманывать гибкой,
Откровенностью, выдумкой зыбкой,
А бывает, — слезой и улыбкой,
Даже болью сердечною лгу.

Как нужна эта горькая смелость,
Эта чаша, что пьется до дна,
Для которой и жить бы хотелось,
Для которой и песня бы пелась,
Для которой и ложь не нужна!

А в саду зарождаются розы.
Мир дробится на капли глюкозы,
Чтобы целостным сделаться вновь,
Затеваются ливни и грозы,
У стены, где надрезаны лозы,
Как счастливые, первые слезы
Виноградная капает кровь.

1956

У ГРОБА

В окруженье траурных венков
Он лежал, уже не постигая
Ни цветов, ни медленных шагов,
И не плакала жена седая.

Только к тесу крышки гробовой
Ангелы угрюмо прикорнули
Да оркестр трудился духовой
И друзья томились в карауле.

Точно с первой горсточкой тепла
Робкого еще рукопожатья,
К мертвецу с букетом подошла
Женщина в потертом сером платье.

Скрылась, поглощенная толпой,
Что молчание хранила свято. . .
А была когда-то молодой
И любила мертвеца когда-то.

А какие он писал слова
Существу, поблекшему уныло,
Пусть узнает лишь его могила
Да припомнит изредка вдова. . .

Если верить мудрецам индийским,
Стану после смерти муравьем,
Глиняным кувшином, лунным диском,
Чьей-то мыслью, чьим-то забытьем,

Но к чему мне новое понятие,
Если не увижу никогда
Вот такую, в старом, сером платье,
Что пришла к покойнику сюда.

1960

ТО ДА СЕ

Красивый сон про то да се
Поведал нам Жан-Жак Руссо.

Про то, как мир обрел покой
И стал невинным род людской.

Про то, как все живут кругом
Трудом земли, святым трудом.

Как пахари и пастухи
Дудят в дуду, поют стихи,

Они поют про то да се,
Играют мальчики в серсо. . .

Жан-Жак, а снились ли тебе
Селенья за Курган-Тюбе?

За проволокой — дикий стан
Самарских высланных крестьян?

Где ни былинки, ни листка
В пустыне долгой, как тоска?

Где тигр трубил издалека?
Где хлопок вырос из песка?

Где чахли дети мужика
В хозяйстве имени Чека?

Там был однажды мой привал.
Я с комендантом выпивал.

С портрета мне грозил Сосо,
И думал я про то да се.

1960

МОЙ ДЕНЬ

Как молитвы, рождаются дни
И одни состоят из тумана,
В тальниках замирают они,
Как вечерняя заумь шамана.

У других голоса — как леса,
Переполненные соловьями,
И у них небеса — тусеса,
Тусеса с голубыми краями.

Вот у этих запевка тиха,
А у тех — высока, хрипловата,
В пестрый гребень муллы-петуха
Заклучат они краски заката.

А бывают такие утра:
Будто слезы из самого сердца,
Льется солнце у них из нутра —
Изуверская кровь страсотерпца.

Как молитвы, рождаются дни,
И одни — как пасхальная скатерть
Посреди подгулявшей родни,
А в окошке — покровская паперть.

Ну а мне — на заре ветерок,
Бесприютная, смутная дрема,
Пьяный дворник взошел на порог —
Судный день накануне погрома.

1960

ДВЕ НОЧИ

Смятений в мире было много.
Ужасней всех, страшней всего —
Две ночи между смертью Бога
И воскресением Его.

И ужас в том, что в эти ночи
Никто, никто не замечал,
Как становился мир жесточе
И как, ожесточась мельчал.

Верблюжий колокольчик звякал,
Костры дымилась вдалеке,
А мертвый Бог уже не плакал
На местном древнем языке.

Но мир по-прежнему плодился
И умножал число вещей. . .
Я тоже, как и вы, родился
В одну из тех ночей.

1962

МОЛДАВСКИЙ ЯЗЫК

Степь шумит, приближаясь к ночлегу,
Загоняя закат за курган,
И тяжелую тащит телегу
Ломовая латынь молдаван.

Слышишь медных глаголов дрожанье?
Это римские речи звучат.
Сотворили-то их каторжане,
А не гордый и грозный сенат.

Отгремел, отблистал Капитолий
И не стало победных святынь,
Только ветер днестровских раздолий
Ломовую гоняет латынь.

Точно так же блатная музыка,
Со словесной порвав чистотой,
Сочиняется вольно и дико
В стане варваров за Воркутой.

За последнюю ложку баланды,
За окурок от чьих-то щедрот
Представителям каторжной банды
Политический что-то поет.

Он поет, этот новый Овидий,
Гениальный болтун-чародей,
О бессмысленном апартеиде
В резервацыи воров и блядей.

Что мы знаем, поющие в бездне,
О грядущем своем далеке?
Будут изданы речи и песни
На когда-то блатном языке.

Ах, Господь, я прочел твою книгу,
И не даром теперь мне дано
На рассвете доесть мамалыгу
И допить молодое вино.

1962

ВОЛКИ

Когда зажжется электричество
В двух корпусах и на столбах,
Цветенья раннее язычество
Развеет мой тоскливый страх,

И дождь уйдет, уже откапавший,
Насвистывая на ходу,
И оживу я, точно в капище,
В благоухающем саду.

Там роза, пленница законника,
Сама как будто не своя
От страсти идолопоклонника —
Задумчивого соловья.

Там управляемых и правящих
Не восхваляется родство,
Там голоса скворцов картавящих
Не раздражают никого.

Там зелень стриженная стелется,
Там ива плачет над водой, —
Как брошенная, с нею делится
Своей мечтой, своей бедой.

Ее ласкает по-отечески
Столетний дуб, сухой старик,
И слышен веток человеческий,
Хотя и ломанный, язык. . .

А в доме волки, всем указчики.
Одни играют в домино,
А для других в волшебном ящике
Поет и вертится кино.

У хищников на мордах барственных
Забот и горя ни следа,
Лишь о делишках государственных
Свой рык роняют иногда.

1962

ЛУННЫЙ СВЕТ

Городские парнишки со щупами
Ищут спрятанный хлеб допоздна
И блестит над степными халупами,
Как турецкая сабля, луна.

Озаряет семейства крестьянские:
Их отправят в Котовск через час,
А оттуда в места казахстанские:
Ликвидируют, значит, как класс.

Будет в красных теплушках бессоница,
Будут плакать, что правда крива. . .
То гордится под ветром, то клонится
Аж до самого моря трава.

Стерегут эту немощь упорную —
Приумолкший угрюмый народ.
Если девушка хочет в уборную,
Вслед за нею конвойный идет.

Дверцу надо держать приоткрытою:
Не сбежишь, если вся на виду. . .
Помню степь, лунным светом облитую
И глухую людскую беду.

Я встречаю в Одессе знакомого.
Он теперь вне игры, не у дел.
Не избег он удела законного,
Восемнадцать своих отсидел.

Вспоминает ли, как раскулачивал?
Как со щупом искал он зерно?
Ветерок, что траву разворачивал?
Лунный свет, что не светит давно?

1963

ГЕОЛОГ

Листья свесились дряхло
Над водой, над судьбой.
В павильоне запахло
Шашлыком и шурпой.

В тубетейке линиялой,
Без рубашки, в пальто,
Он с улыбкой усталой
Взял два раза по сто.

Свой шатер разбивавший
Там, где смерч и буран,
Наконец отыскавший
Этот самый уран, —

Он сорвался, геолог,
У него, брат, запой. . .
День безветренный долог
И наполнен толпой.

Наважденье большое —
Чудо русской толпы
В сказке пыли и зноя,
Шашлыка и шурпы!

В сорок лет он так молод,
Беден, робок и прост,
Словно трепет и холод
Горных рек, нищих звезд.

1963

ЕРЕВАНСКАЯ РОЗА

Ереванская роза
Мерным слогом воркует,
Гармонически плачет навзрыд.
Ереванская проза
Мастерит и торгует,
И кричит, некрасиво кричит.

Ереванскую розу —
Вздых и целую фразу —
Понимаешь: настолько проста.
Ереванскую прозу
Понимаешь не сразу
Потому, что во всем разлита —

В старике, прищемившем
Левантийские четки
Там, где брызги фонтана летят,
В малыше, устремившем
Свой пытливый и кроткий,
Умудренный страданием взгляд.

Будто знался он с теми,
Чья душа негасима,
Кто в далеком исчез далеке,
Будто где-то в эдеме
Он встречал серафима
С ереванскою розой в руке.

1965

АРАРАТ

Когда с воздушного он спрыгнул корабля,
Потом обретшего название ковчега,
На почву жесткую по имени Земля,
И стал приискивать местечко для ночлега,

Внезапно понял он, что перед ним гора.
С вечерней синевой она соприкасалась,
И так была легка, уступчива, щедра,
Что сразу облаком и воздухом казалась.

Отец троих детей, он был еще не стар,
Еще нездешними наполнен голосами.
Удачливый беглец с планеты бедной Ар,
На гору он смотрел печальными глазами.

Там, на планете Ар, еще вчера, вчера
Такие ж горные вершины возвышались,
Как небожители, что жаждали добра,
Но к людям подойти вплотную не решались.

Все уничтожено мертвящею грозой
Тотальной! . . . А здесь три девки с диким взглядом
К трем сыновьям пришли с неведомой лозой:
Ученый Хам назвал растенье виноградом.

А наверху олень и две его жены,
Бестрепетно блестя ветвистыми рогами,
Смотрели на него с отвесной вышины,
Как бы союзника ища в борьбе с врагами,

Как бы в предвиденьи, что глубже и живей
Мир поразят печаль, смятение и мука,
Что станет сей корабль прообразом церквей,
Что будут кланяться ему стрелки из лука. . .

Отцу противен был детей звериный срам,
И словно к ангелам, невинным и крылатым,
Он взоры обратил к возвышенным холмам,
И в честь планеты Ар назвал он Араратом

Вершину чистую. . . А стойбище вдали
Дышало дикостью и первобытным зноем.
Три сына, повалив трех дочерей Земли,
Смеялись заодно с землей над ним, над Ноем.

1965

ЧЕШСКИЙ ЛЕС

Готический, фольклорный чешский лес,
Где чистые, пристойные тропинки
Как бы ведут нас в детские картинки,
В мануфактуры сказочных чудес.

Не зелень, а зеленое убранство,
И в птичьих голосах так высока
Холодная немецкая тоска,
И свищет грусть беспечного славянства.

Мне кажется, что разрослись кусты,
О благоденствии людском заботясь,
И все листы — как тысячи гипотез
И тысячи свершений красоты.

Мальчишка в гольфах, бледненький, болезный,
И бабка в прорезиненных штанах
В своем лесу — как в четырех стенах. . .
Пан доктор им сказал: „Грибы полезны.”

Листву сомкнули древние стволы,
Но расступился мрак — и заблестели
Полупустые летние отели
И белые скамейки и столы.

А там, где ниже лиственные своды,
Где цепко, словно миф, живет трава,
Мне виден памятник. На нем слова:
„От граждан украшателю природы.”

Шоссе, — я издали его узнал
Сквозь стены буков, — смотрит в их проломы.
„Да, не тайга”, — заметил мой знакомый
Из санатория „Империял”.

Веками украшали мы природу
Свою — да и всего, что есть вокруг,
Но стоит с колеи упорной вдруг
Сойти десятилетью или году,

Успех моторизованной орды, —
И чудный край становится тайгой,
Травой уничтожаются глухою
Возделанные нивы и сады,

И там, где предлагали продавщицы
Пластмассовых оленей, где отель
Белел в листве, — рычит, как зверь, метель
И спят в логах брюхатые волчицы.

1966

ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА

В центре города, где назначаются встречи,
Где спускаются улицы к морю покато,
В серой будке звонит городской сумасшедший,
С напряжением вертит он диск автомата.

Толстым пальцем бессмысленно в дырочки тычет,
Битый час неизвестно кого вызывая,
То ли плачет он, то ли товарищей кличет,
То ли трется о трубку щетина седая.

Я слышал, что безумец подобен поэту. . .
Для чего мы друг друга сейчас повторяем?
Опустить мы с тобою забыли монету,
Мы, приятель, не те номера набираем.

1965
Одесса

ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ДОМА РЕМБРАНДТА

Н. М. Любимову

1. Пригородные деревья

Деревья движутся вслепую
Из мрака на зеленый свет,
И я внимательно рисую
Их групповой портрет.

Опасливых провинциалов,
Тревожит их, как трудный сон,
Новозастроенных кварталов
Огни, стекло, бетон.

Как человеческие руки,
Их ветви в темноте густой
Свидетельствуют о разлуке
С восторгом и мечтой.

Сперва казалось им побочным
Их отречение от надежд,
Их приобщенье к правомочным
Недвижностям невежд.

Зачем на них смотрю я с болью
И сострадаю все живей
Ожесточенному безволю
Опущенных ветвей?

2. Улица у канала

„Импорт-экспорт”. „Врач”. „Ван Гутен”. „Ткани”.
„Амстердамско-Роттердамский банк”.
И среди фамилий и названий —
Буквы на дверях: „Дом Анны Франк”.

Крепок дом и комнаты неплохи.
Снимки отблеставших кинозвезд.
Апокалипсис моей эпохи,
Как таблица умноженья, прост.

Звезды на стене, а ночь беззвездна
И не смеет заглянуть сюда.
Доченька, уснуть еще не поздно,
Чтобы не проснуться никогда.

Увядает в роще елисейской
Дерево познания и добра,
А на почве низменной, житейской,
Начинается его пора.

Нелегко свести с концом начало.
Жизнь есть жизнь и деньги любят счет.
Вдоль дверей течет вода канала.
Знает ли, куда она течет?

3. Деревья осенью

Как римляне времен упадка,
Еще не подводя итоги,
Деревья увядают сладко,
И признаки правопорядка —
Их красно-золотые тоги.

Еще не знают, что недуга
Свидетельство — листья багрянец,
Что скоро их повалит вьюга,
Что в пламя, обвязавши туго,
Их бросит кельт или германец.

Не ведают, что сами пчелы
Свой мед бессильно обесценят,
Что дики будут новоселы,
Когда Октябрь на череп голый
Корону Августа наденет.

4. Ночной дозор

Развей безверие больное,
Но боль ума не утиши,
Ночной дозор моей души,
Мое прозрение ночное!

На площади не убран сор.
Бездомно каменеют души.
Зачем становятся все глуше
Твои шаги, ночной дозор?

Откуда страх у этих множеств —
От честных истин стать тусклей?
Не может в мире быть ничтожеств,
Родившихся от матерей!

Не бойтесь жить междуусобьем
Святынь, заветов и сердец,
Быть образом и быть подобьем,
Когда прекрасен образец!

Не смейтесь над высоким слогом:
Правдовыскующая речь
Должна, сама сгорая, жечь,
По людным двигаясь дорогам.

1968

ПРОИСШЕСТВИЕ

От надоедливой поделки
Глаза случайно оторвав,
Я встретился с глазами белки,
От зноя смуглой, как зуав.

Зачем же бронзовое тельце
Затрепетало, устрасась?
Ужель она во мне, в умельце,
Врага увидела сейчас?

Вот прыгнула, легко и ловко
Воздушный воздвигая мост.
Исчезли узкая головка
И щегольской, но бедный хвост.

Я ждал ее — и я дождался,
Мы с нею свиделись опять.
В ней некий трепет утверждался,
Мешал ей жить, мешал дышать.

Как бы хотел отнять способность
Взвиваться со ствола на ствол,
И эту горькую подробность
В зрачках застывших я прочел.

Два дня со мной играла в прятки,
А утром, мимо проходя,
Сосед ее увидел в кадке,
Наполненной водой дождя.

Так умереть, так неумело
Таить и обнажить следы. . .
И только шкурка покраснела
От ржавой дождевой воды.

1966



Еще дыханье суеты
Тебя в то утро не коснулось,
Еще от сна ты не очнулась,
Когда глаза открыла ты —

С таким провидящим блистаньем,
С таким забвением тревог,
Как будто замечтался Бог
Над незнакомым мирозданьем.

Склоняюсь, я над тобой стою,
И тем блистанием палимый,
Вопрос, ликуя, задаю:
— Какие новости в раю?
Что пели ночью серафимы?

1967

ЛЮБОВЬ

Нас делает гончар: подобны мы сосуду. . .

Кабир

Из глины создал женщину гончар.
Все части оказались соразмерны.
Глядела глина карим взглядом серны,
Но этот взгляд умельца огорчал:

Был дик и тускл его звериный трепет.
И ярость охватила гончара:
Ужели и сегодня, как вчера,
Он жалкий образ, а не душу лепит?

Казалось, подтверждали мастерство
Чело и шея, руки, ноги, груди,
Но сущности не видел он в сосуде,
А только глиняное существо.

И вдунул он в растерянности чудной
Свое отчаянье в ее уста,
Как бы страшась, чтоб эта пустота
Не стала пустотою обоюдной.

Тогда наполнил глину странный свет.
Но чем он был? Сиянием страданья?
Иль вспыхнувшим предвестьем увяданья,
Которому предшествует расцвет?

И гончара пронзило озаренье,
И он упал с пылающим лицом.
Не он, — она была его творцом,
И душу он обрел, — ее творенье.

1967

НОЧИ В ЛЕСУ

В этом лесу запрещается рубка.
Днем тишина по-крестьянски важна.
Здесь невозможна была б душегубка.
Кажется, — здесь неизвестна война.

Но по ночам разгораются страсти.
Сбросив личину смиренного дня,
Сосны стоят, как военные части,
Ели враждуют, не зная меня.

Я же хочу в этот лес-заповедник,
Где глубока заснеженная падь,
Не как идущий в народ проповедник,
А как земляк-сотоварищ вступать.

Словно знаток всех имен я и отчеств,
Словно живут среди соседей лесных
Гордые ночи моих одиночеств,
Робкие ночи пророчеств моих.

1967

МОИСЕЙ

Тропою концентрационной,
Где ночь бессонна, как тюрьма,
Трубой канализационной,
Среди помоев и дерьма,

По всем немецким и советским,
И польским, и иным путям,
По всем печам, по всем мертвецким,
По всем страстям, по всем смертям, —

Я шел. И грозен и духовен,
Впервые Бог открылся мне,
Пылая пламенем газовен
В неопалимой купине.

1967

СОВРЕМЕННОСТЬ

Мы заплатили дорогой ценой
За острое неверие Вольтера;
Раскатом карманьолы площадной
Заглушены гармония и мера;

Концлагерями, голодом, войной
Вдруг обернулась Марксова химера;
Все гаснет на поверхности земной, —
Не гаснет лишь один светильник: вера.

В светильнике нет масла. Мрак ночной —
Без берегов. И все же купиной
Неопалимой светим и пылаем.

И блещет молния над сатаной,
И Моисея жжет пустынный зной,
И Иисус зовет в Ерушалаим.

1967

В КАФЕ

Оркестрик играл неумело,
Плыла папиросная мгла
И сдавленным голосом пела,
Волнуясь и плача, пила.

Не та ли пила, что от века,
Насытившись мясом ствола,
Сближала очаг с лесосекой,
Несла откровенье тепла?

Не та ли пила, что узнала
Тайги безграничную власть,
И повести лесоповала,
И гнуса, гудящего всласть?

Да что там, нужны ли вопросы?
Остались лишь мы на земле
Да тот музыкант длинноносый,
Что водит смычком по пиле.

1967

ЗОЛА

Я был остывшею золой
Без мысли, облика и речи,
Но вышел я на путь земной
Из чрева матери — из печи.

Еще и жизни не поняв
И прежней смерти не оплавав,
Я шел среди баварских трав
И обезлюдевших барачков.

Неспешно в сумерках текли
„Фольксвагены” и „Мерседесы”,
А я шептал: „Меня сожгли.
Как мне добраться до Одессы?”

1967

СОЮЗ

Как дыханье тепла в январе
Иль отчаянье воли у вьючных,
Так загадочней нет в словаре
Однобуквенных слов, однозвучных.

Есть одно — и ему лишь дано
Обуздать полновластно различья.
С ночью день сочетается оно,
Мир с войной и с паденьем величье.

В нем тревоги твои и мои,
В этом И — наш союз и подспорье. . .
Я узнал: в азиатском заморье
Есть народ по названию И.

Ты подумай: и смерть, и зачатье,
Будни детства, надела, двора,
Неприятие лжи и понятие
Состраданья, бесстрашья, добра,

И простор, и восторг, и унылость
Человеческой нашей семьи, —
Все вместилость и мощно сроднилось
В этом маленьком племени И.

И когда в отчужденной кумирне
Приближается мать к алтарю,
Это я, — тем сильней и всемирней, —
Вместе с ней о себе говорю.

Без союзов словарь онемевает,
И я знаю: сойдет с колеи,
Человечество быть не сумеет
Без народа по имени И.

1967

РАЗМЫШЛЕНИЯ В САРАЕВЕ

Мечеть в Сараеве, где стрелки на часах
Магометанское показывают время,
Где птицы тюркские — в славянских голосах,
Где Бог обозначает племя,
Где ангелы грустят на разных небесах.

Улыбка юная монаха-босяка
И феска плоская печального сефарда.
Народы сдвинулись, как скалы и века,
И серафимский запах нарда
Волна Авзонии несет издалека.

Одежда, говоры, базары и дворы
Здесь дышат нацией, повсюду вавилоны,
Столпотворения последние костры.
Иль не един разноплеменный
Сей мир, и все его двуногие миры?

На узкой улице прочел я след ноги
Увековеченный, — и понял страшный принцип
Столетия нашего, я услышал шаги
И выстрел твой, Гаврила Принцип,
Дошедшие до нас, до тундры, и тайги.

Когда в эрцгерцога ты выстрел произвел,
Чернорубашечный поход на Рим насытил
Ты кровью собственной, раскол марксистских школ
Ты возвестил, ты предвосхитил
Рев мюнхенских пивных и сталинский глагол.

Тогда-то ожили понятие вождей,
Камлание жреца — предвиденья замена,
Я здесь, в Сараеве, почувствовал больней,
Что мы вернулись в род, в колено,
Сменили стойбищем сообщество людей. . .

Всегда пугает ночь, особенно в чужом,
В нерусском городе. Какая в ней тревога!
Вот милицейские машины за углом,
Их много, даже слишком много,
И крики близятся, как равномерный гром.

Студенты-бунтари нестройный режут круг
Толпы на площади, но почему-то снова
К ней возвращаются. Не силу, а недуг
Мятежное рождает слово,
И одиноко мне, и горько стало вдруг.

1968

СТЕПНАЯ ТРАВА

Песок течет, как время,
А зной звенит, как влага,
Там, где овечье племя
Молчит на дне оврага,

Где пастухи степные
У ивовой ограды
Вдруг вспомнят племенные
Забытые обряды.

Траве немного надо:
Густая общность многих,
Она сама — как стадо
Существ зеленоногих.

Когда летит в лазури
Рассветный ветер быстрый,
На их зеленой шкуре
Росы он гасит искры.

И, может быть, степные
Вот эти овцеводы —
Суть листья травяные
Неведомой породы.

Как небосвод — с долиной,
Как холм песчаный — с далью,
Мы связаны единой
Надеждой и печалью.

1968

ТЕЛЕГА

И. Л. Лиснянской

К новым шумам привыкли давно уже сосны:
Звон бидонов на велосипеде,
Гул вагонов и смех в „Москвиче” иль в „Победе”,
Но внезапно — скрипучее эхо трагедий,
Этот эллинский грохот колесный.

На заре нашей жизни такие ж телеги
Так же пахли туманом и сеном
И не знали о чувстве травы сокровенном,
Деревенские, царские, с грузом военным, —
Унижали цветы и побегии. . .

Удивление сосен пред шумом тележным
И во мне, очевидно, проснулось,
И душа среди листьев зеленых очнулась,
И вернулась к прошедшему, и содрогнулась
Содроганием горьким и нежным.

Все, что сделал хорошего, стал вспоминать я, —
Оказалось, хорошего мало,
А дурное росло и к траве прижимало,
И у листьев найти я пытался начало
Терпеливого жизнепрятя.

Почему, я подумал, всегда безоружна
Многоликая клейкая мякоть,
А со мною поет и печалится дружно,
Почему мне так нужно, так радостно нужно,
Так позорно не хочется плакать?

1968

ГОНЧАР

Когда еще не знал я слова
С его отрадой и тоской,
Богов из вещества земного
Изготавливал я в мастерской.

Порой, доверившись кувшину,
Я пил с собой наедине,
Свою замешивая глину
Не на воде, а на вине.

Не ведая духовной жажды,
Еще о правде не скорбя,
Я вылепил тебя однажды,
Прекраснобедрая, — тебя!

Но свет и для меня зажегся
С потусторонней высоты,
И, потрясенный, я отрекся
От рукотворной красоты.

Так почему же зодчий мира,
Зиждитель влаги и огня,
Глазами моего кумира
Все время смотрит на меня?

1969

ЗАКАТ В АПРЕЛЕ

Пред вечным днем я опускаю вежды.

Е. Баратынский

Был он времени приспешник,
С ним буянил заодно,
А теперь утихомирлся, —
Сквозь безлиственный орешник,
Как раскаявшийся грешник,
Грустный день глядит в окно.

Травяные смолкли речи,
Призадумались стволы.
Запылав, закат расширился,
И уносится далече,
Исцеляя от увечий,
Запах почвы и смолы.

Пусть тревоги вековые —
Наш сверкающий удел,
А кошелки мать-и-мачехи,
Золотисто-огневые,
Раскрываются впервые,
И впервые мир запел.

Снова жгучего прозренья
Над землей простерта сень,
Каин, Авель — снова мальчики,
Но в предчувствии боренья
Заурядный день творенья
Вновь горит, как первый день.

1969

НА ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ

Не видел сам, но мне сказали,
Что, уведя за косогор,
Цыганку старую связали
И рядом развели костер.

Туман одел передовую
И ту песчаную дугу,
Где оборотни жгли живую
На том, не нашем берегу.

А я, покуда мой начальник
Направился в политотдел,
Пошел к тебе сквозь низкий тальник,
Который за ночь поредел.

В избе, в больничном отделенье,
Черно смотрели образа,
И ты в счастливом удивленьи
Раскрыла длинные, олени,
С печальным пламенем глаза.

Мы шли по тихому Заволжью,
И с наступленьем темноты
Костер казался грубой ложью,
А правдой — только я и ты.

Но разве не одной вязанкой
Мы, люди, стали с давних пор?
Не ты ли той была цыганкой?
Не я ль взошел на тот костер?

Не на меня ль ложится в мире
За все, чем болен он, — вина?
Мы оба на чужой квартире,
В окне — луна, в окне — война.

1969

СТРАХ

Поднимается ранний туман
Над железом загрязивших крыш, —
Или то не туман, а дурман,
От которого странно грустишь?

Ты и шагу не можешь ступить,
Чтоб на лавочку сесть у окна, —
Или хочется что-то забыть,
А для этого память нужна?

Иль вселенной провидишь ты крах
И боишься остаться одна,
Иль божественный чувствуешь страх,
А для этого смелость нужна?

Все погибнет — и правда, и ложь —
В наступающем небытии,
Но боишься, что ты не умрешь,
Ибо гибели нет для любви.

1969

ОДЕССКАЯ СИНАГОГА

Обшарпанные стены,
Угрюмый, грязный вход.
На верхотуре где-то
Над скинией завета
Мяучит кот.

Раввин каштаноглазый —
Как хитрое дитя.
Он в сюртуке потертом,
И может спорить с чертом
Полушутя.

Сегодня праздник торы,
Но мало прихожан.
Их лица — как скрижали
Корысти и печали. . .
И здесь обман?

И здесь бояться надо
Уньлых стукачей?
Шум, разговор банальный,
Трепещет поминальный
Огонь свечей.

Но вот несут святыню —
И дрогнули сердца.
В том бархате линиялом —
Все, ставшее началом,
И нет конца!

Целуют отрешенно,
И плача, и смеясь,
Не золотые слитки,
А заповедей свитки,
Суть, смысл и связь.

Ты видишь их, о Боже,
Свершающих круги?
Я только лишь прохожий,
Но помоги мне, Боже,
О помоги!

1969

ОДЕССКИЙ ПЕРЕУЛОК

Акация, нежно желтея,
Касается старого дворика,
А там, в глубине, — галерея,
И прожитых лет одиссея
Еще не имеет историка.

Нам детство дается навеки,
Как мир, и завет, и поверие.
Я снова у дома, где греки,
Кляня почитателей Мекки,
В своей собирались гетерии.

Отсюда на родину плыли
И там возглавляли восстание,
А здесь нам иное сулили
Иные, пьянящие были,
Иных берегов очертания.

А здесь наши души сплетались,
А здесь оставались акации,
Платаны легко разрастались,
Восторженно листья братались,
Как часто братаются нации.

О кто, этих лет одиссея,
За нитью твоею последует?
Лишь море живет, не старея,
И время с триерой Тезея,
Все так же волнуясь, беседует.

1969
Одесса

ЛИРА

От незрячего Омира
Перешла ко мне моя
Переимчивая лира —
Двуединая змея.

Никого не искушая
И не жалея никого,
Вспоминает, воскрешая,
Наше светлое родство.

И когда степняк иль горец
Жгли судьбу в чужом краю,
Робко трогал стихотворец
Лиру — добрую змею.

И она повествовала
Не про горе и беду,
А про то, как жизнь вставала,
Как готовили еду,

Как пастух огонь похитил,
Возмутив святой чертог,
Наши песни предвосхитил,
Нашей болью изнемог,

Чтобы не было поступка
Не для блага бытия,
Чтоб мудра была голубка,
Чтоб добра была змея.

1971

БЕССРЕБРЕНИК

Не себялюбец и не скаред,
С остатком теплых дней в обрез,
Себя всему живому дарит
Бессребренный, бесстрашный лес.

Не для того он плодоносит,
Чтоб нравились его плоды,
Он в жертву дерево приносит
Не потому, что славы просит
Вовне или внутри среды.

Он расточает добродетель
Не для того, чтобы о ней
Кричал запальчивый радетель
Всего, что громче и видней.

Но, сквозь малинник или хвою
С ним двигаясь одной тропюю,
Ты замечаешь при ходьбе:
Он не сочувствует тебе,
А сам становится тобою.

1970

ПОДРАЖАНИЕ КАБИРУ

Я попал уловителю в сеть,
Но ячейки порвал я плечом.
Я хочу ничего не хотеть,
Я хочу не просить ни о чем.

Ты один, Ты один у того,
У кого никого, никого,
Но всего, но всего господин
У кого Ты один, Ты один.

1970

БЕЛЫЙ ПЕПЕЛ

А был ли виноват
Небесный свод горельй,
Когда его пределы
Захватывал закат?
Смотри: как пепел белый
Снега кругом лежат.

Созвучием стихов
По энтропии прозы
Ударили морозы,
И тихий день таков,
Как белизна березы
На белизне снегов.

Но я отверг устав
Зимы самодовольной
Мне от снежинки больно:
Она, меня узнав,
Звездой шестиугольной
Ложится на рукав.

1971

УТРЕННИЕ ПОКУПКИ

Весенним ветром вздута,
Покорна и громка,
Мутнеет от мазута
Чеченская река.

Две светлые пичужки
Уставились в нее, —
Как будто для просушки
Развешено белье.

Мостом, почти лубочным,
Иду в седьмом часу:
Хочу купить в молочном
Кефир и колбасу.

У женщин тех окраин,
Я с детства в это вник,
Так резок, так отчаян
И так отходчив крик.

Мне душно. Загрудинный
Я чувствую укол. . .
Меняются картины:
Я на базар пошел.

Как время нас чарует,
Какой везде уют,
Когда земля дарует,
А люди продают!

Беру у бизнесменки
Редиску и творог.
На родине чеченке
Пусть помогает Бог.

Пусть больше не отправит
Туда, где дни горчат,
Пусть горя поубавит,
Прибавит ей внучат,

Пусть к ней заходит в гости
Невидимым путем. . .
И вот опять замостье,
Пятиэтажный дом,

И ты передо мною
В гостиничном окне,
Но только не усвою, —
В окне или во мне?

1971

МИНДАЛЬ

Выпал снег. Он белый как хлопчатник:
В день весны нагрянула зима.
На садовнике — потертый ватник,
Негустая, тусклая чалма.

Снег с деревьев стряхивает палкой
На асфальта узкую скрижаль.
Занедужив, умирает жалкий
И очаровательный миндаль.

И поет садовник, опьяненный
Поздним хмелем старости своей,
Те стихи, что некогда влюбленный
Сочинил ширазский соловей.

Ты зачем, зима, пришла за мною?
Но поверь, что не себя мне жаль, —
Жаль, что должен умереть весной
Робко распустившийся миндаль.

1970

ВЗГЛЯД

Я спросил у поэта-кавказца,
Старой дружбою с ним умилен,
Отомстит ли он, если удастся,
За угон малосильных племен?

Но дыша перегаром эпохи,
Всех вина, никого не вина,
Голубые глаза выпивохи
Он оставил тогда на меня.

Этот взгляд был такой безучастный,
И разумный такой, и дурной,
Что я понял, как все мы несчастны,
Но не понял, что будет со мной.

1972

ГОДОВЩИНА АРМЯНСКОГО ГОРЯ

Хлеб, виноград, Господь.
Хлеб, виноград, Господь.

Персики в Эчмиадзине
Цветом цветут фиолетовым.
Свод над землею синий,
Как над Синайской пустыней.
Ряса католикоса
Цветом цветет фиолетовым.
Медленно, многоголосо
Звон поминальный вознесся:

Хлеб, виноград, Господь.
Хлеб, виноград, Господь.

Страшная годовщина
Страшной народной гибели.
В церкви Эчмиадзина —
Слово Божьего сына.
Поровну мы разделим
Тоненькие опресноки.
Выйдем из храма с весельем,
В поле траву расстелим.

Жертвенного барана
Мы обведем вокруг дерева.
В сердце — вечная рана,
А земля нам желанна.
Все мирозданье в расцвете,
Все непотребное — изгнано,
Только и есть на свете —
Дети, дети, дети,

Хлеб, виноград, Господь.
Хлеб, виноград, Господь.

Боже, к твоим коленям
Я припадаю с молением:
Да оживут убиенные
В этом саду весеннем!
В нашем всеобщем храме
Да наслаются весело
Всеми твоими дарами!
С нами, с нами, с нами —

Хлеб, виноград, Господь,
Хлеб, виноград, Господь.

1972

ПО ДОРОГЕ

Вдоль забора к оврагу бежит ручеек,
А над ним, среди ветвей, мне в ответ
Соловей говорит по-турецки: йок-йок,
Это лучше, чем русское: нет,

Потому что неточен восточный глагол,
И его до конца не поймем,
Потому что роскошен его произвол,
И надежда упрятана в нем.

Я не вижу, — каков он собой, соловей,
Что поет на вечерней заре.
Не шарманщик ли в серенькой феске своей
Появился на нашем дворе?

Пахло морем и степью, и сеном подвод,
Миновало полвека с тех пор,
Но меня мой шарманщик и ныне зовет
Убежать к ручейку за забор.

И когда я теперь в подмосковном бору
Соловья услышал ввечеру,
Я подумал, что я не умру, а замру
По дороге к родному двору.

1972

ПОДЪЕМ

В горах, как благодарный фимиам,
Светло курились облачные дымы.
Деревья поднимались к небесам,
Как недоверчивые пилигримы.

Они бранили горную грозу,
Метель, и град, и камнепад жестокий,
И вспоминали, как росли внизу,
Где так привычно следовали сроки.

Они забыли злобу топора
И цепкую пилу лесоповала,
И то, что было ужасом вчера,
В их существовании сегодня ликовало.

Но, охраняя каждый свой побег,
Брели наверх все строже, все упрямей,
Чтобы обнять первоначальный снег
Своими исхудалыми ветвями.

1972

Дилижан



Еще и плотью не оделись души,
И прах — травой, и небо — синевой,
Еще вода не отошла от суши,
И свет был слеп во тьме довековой,
Еще неизреченным было слово,
И мысль спала в тиши предгрозовой,
И смерть не знала теплоты живого,
А я уже тебя любил.

И боль моя свою постигла смелость,
И свет прозрел во тьме, и твердь земли,
От влаги отделясь, травой оделась,
И души плоть впервые обрели,
И мысль проснулась в мирозданье новом,
И время, уходящее вдали,
Увидела она, и стала словом,
И мерою всего, что есть.

1972

АРМЯНСКИЙ ХРАМ

Здесь шахиншах охотился с гепардом
И агарянин угрожал горам.
Не раз вставало горе над Гегардом,
Мы войско собирать не успевали
И в камне прорубили крепость-храм.

И кочевали мы, и торговали,
И создавали, каясь и греша,
Уже самих себя не забывали,
И только потому не каменели,
Что в камне зрела и росла душа.

1972

КОЧЕВОЙ ОГОНЬ

Четыре, как будто столетья
В империи этой живем.
Нам веют ее междометья
Березкою и соловьем.

Носили сперва лапсердаки,
Держали на тракте корчму,
Кидались в атаки, в бараки,
Но все это нам ни к чему.

Мы тратили время без смысла
И там, где настаивал Нил,
Чтоб эллины речи и числа
Левит развивал и хранил,

И там, где испанскую розу
В молитву поэт облачал,
И там, где от храма Спинозу
Спесивый синклит отлучал.

Какая нам задана участь?
Где будет покой от погонь?
Иль мы — кочевая горючесть,
Бесплотный и вечный огонь?

Где заново мы сотворимся?
Куда мы направим шаги?
В светильниках чьих загоримся
И чьи утеплим очаги?

1973

ХАЙМ

Там, где мчалась дружина Гэсэра,
А недавно — жандармский полковник,
Где и ныне в избе старовера
Мы найдем пожелтевший часовник,
Где буддийские книги бурята
Разбрелись по аймакам глухим, —
Серебристо-светла, таровата,
Есть река по названию Хайм,

Будем верить преданьям не слишком:
То ль, тропой возвращаясь таежной,
Да притом, говорят, с золотишком,
Был он голью зарезан острожной,
То ль трактир содержал он на тракте,
Беглых каторжников укрывал,
И за свой поплатился характер. . .
Есть река и Хайм-перевал.

Вечный дух пребывает в кумире,
В древнем свитке и в крестике малом.
Хорошо ль тебе, Хаим, в Сибири
Течь рекой и стоять перевалом?
Что мне светит в серебряных всплесках?
Иль в тайге улыбается Тот,
Кто смутил мудрецов бенаресских
И в пустыне хранил свой народ?

1973

Горячинск

ВЕЧЕРЕЕТ

Темный дуб достигает лазури,
Но земля ему стала милей.
Как сонет, посвященный Лауре,
Он четырнадцать поднял ветвей.

Он ведет на заветном и звонком
Языке свой спокойный дневник:
„Был я утром сегодня ребенком,
Вечереет — и вот я старик”.

1974

В ГОЛУБОМ СОСУДЕ

В лесу июля, в голубом сосуде,
Подробно, точно вычерчены ели,
И только люди потому и люди,
Что их угадываешь еле-еле.

Как хорошо, что был творец неловок,
Что не был увлечен задачей мелкой
И свой небрежный, свежий подмалевок
Он не испортил тщательной отделкой.

1974



Когда болезненной душой устану,
От поздней и мучительной любви,
Под старость лет пушусь по океану,
 Как Иегуда Галеви.

Заблудится ль корабль и рухнет в бездну,
К разбойникам я попаду ли в плен,
В толпе ли пилигримов я исчезну,
 В пыли, у глинобитных стен? —

Я твердо знаю, что исчез я прежде,
Чем не было меня уже тогда,
Когда я малодушно жил в надежде
 На близость Страшного суда,

А между тем служил я суесловью,
Владея немудренным ремеслом,
И слово не хотело стать любовью,
 Чтобы остаться, как псалом.

1975



С. Б. Рассадину

В этом городе южном я маленький школьник,
Превосходные истины тешат мой слух,
Но внутри меня шепчет какой-то раскольник,
Что рисуются буквы, а светится дух.

Страстно спорят на говоре местном южане,
Но иные со мной существа говорят:
Словно вещая птица из древних сказаний,
Прилетел небывалого цвета закат.

Новым, чистым дыханьем наполнился будень,
Обозначилось все, что роилось вдали,
Лодки на море — скопище старых посудин —
Превратились в мерцающие корабли.

Стало вольностью то, что застыло темницей,
Свет зажегся на стертой скрижали земной,
Все иду, все иду за нездешнею птицей,
А она все летит и летит надо мной.

1975

САД

Мне кажется: в таком саду,
Где тень плотней при свете резком,
Где листья замерли в пруду,
Где падает с беспечным треском
На землю твердую орех, —
Есть где-то змей с коварным блеском
И начат первородный грех.

А жизнь, еще не постигая
Очарования стыда,
Еще нагая, но другая,
Глядится в зеркало пруда,
И не желая, не умея
Понять, — случится ли беда,
Ждет снова приближенья змея.

Но в чем значение плода?
Орех и яблоня познания
Не одинаковы ль, когда
Им нет еще в саду названья,
И только видимость пока
И змей, и омут узнаванья,
И женщина, и облака.

1975



Господин Весенний Ветер,
Я вас помню молодым,
Вы беседовали весело
С госпожой Акацией.
В нашем городе стояли
Иностранные суда,
И взметались, и сияли
Беспокойные года.

Господин Весенний Ветер,
Вот и стал я стариком,
И давно сожгли захватчики
Госпожу Акацию.
Словно камни под водою —
Онемелые года.
Та, что здесь всегда со мною,
Не вернется никогда.

1976



Когда в слова я буквы складывал
И смыслу помогал родиться,
Уже я смутно предугадывал,
Как мной судьба распорядится.

Как я не дорасту до форточки,
А тело мне сожмут поводья,
Как сохраню до смерти черточки
Пугливого простонародья.

Век сумасшедший мне сопутствовал,
Подняв свирепое дреколье,
И в детстве я уже предчувствовал
Свое мятежное безволие.

Но жизнь моя была таинственна,
И жил я, странно понимая,
Что в мире существует истина
Зиждительная, неземная.

И если приходил в отчаянье
От всепобедного развала,
Я радость находил в раскаянье,
И силу слабость мне давала.

1976

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Новую жизнь я начну с понедельника,
Сброшу поклажу ненужных забот,
Тайная вечеря зимнего ельника
К делу и жертве меня призовет.

Все, что душа так испуганно прятала, —
Тихо откроет, по-детски проста,
Первосвященника и прокуратора
Не убоюсь, — ни суда, ни креста.

Землю постигну я несовершенную,
И искупляющей силой влеком,
Следом за нею на гибель блаженную
В белом хитоне пойду босиком.

1977



Заснуть и не проснуться,
Пока не прикоснутся
Ко мне твои ладони
И не постигну я,
Что в мир потусторонний
Мы вырвались из плена
Земного бытия.

Развеем, новоселы,
Наш долгий сон тяжелый
О том, что был я грешен,
И перестану я,
Твоей душой утешен,
Разгадывать надменно
Загадку бытия.

1977



Доболеть, одолеть странный страх,
Догореть, докурить сигарету,
Истребить себя, — так второпях
В автомат опускают монету.

Но когда и внутри, и вокруг
Обостряется жизни напрасность,
У нее появляется вдруг
Полудетская мрачная страстность.

А потом начинается свет
Где-то исподволь, где-то подспудно,
Мысль прочнеет, как плоть, как предмет,
И волнуется чисто и чудно.

1977

ИНДИЙСКИЙ ПЕВЕЦ

Овальный, гнутый лист
В прожилках золотых,
Зародыши плодов.
Над ними — нежный свист
Индийского певца,
Сородича дроздов.

Вся жизнь-то прожита
Здесь, на чужой земле,
В саду, где он рожден.
А иволга желта,
О чем она поет
Не понимает он.

Порой заговорит
Взволнованно, захлеб,
Но в толк не может взять,
Что чужд его санскрит
Всем этим существам,
И он свистит опять. . .

1977

МГНОВЕНЬЕ

Пустившись вечером в дорогу,
Меж темных скал увидел неба
Я головокружительный кусок.
Как будто идолищу-богу,
Молились горному отрогу
И разжигали звезды алтари.

Младенческое было что-то
В сверкании вечерней бездны,
И мир мне показался так высок,
Что с плеч моих сошла забота,
Я стал пригоден для полета,
Как тот, кто сообщил благую весть.

Нездешнего прикосновенье
Ожгло меня, и уходило
Оно безмолвно, как песок в песок,
Но я запомнил то мгновенье,
Как помнят боль и откровенье,
И милую отцовскую ладонь.

1977

ГОРОД ХВОЙНЫХ

Я иду навстречу соснам
Тихой улицей в лесу.
За сараем сенокосным
День разлил свою росу.

Перебежчик-кот мурлычит
Обо всем и ни о чем.
Город хвойных здесь граничит
С человеческим жильем.

За единственное яство
В простоте благодаря,
Здесь, в лесу, не хочет паства
Пастыря и алтаря.

Я вступаю в город хвои
Как изгой, инаковер,
Одoleв свое былое
И языковой барьер.

Кто же станет придираться,
Попрекая чужака,
Если сможет затеряться
В вавилонах сосняка?

1977

НОЧЬЮ

Высотные скворечники
Поражены безмолвьем;
Плеяды-семисвечники
Зажглись над их становьем;
И кажется: чуть-чуть привстань,
И ты коснешься света
Луны, пленительной, как лань
На бархате завета.

О ясность одиночества,
Когда и сам яснеешь,
Когда молиться хочется,
Но говорить не смеешь!
Ты царь, но в рубище одет,
И ты лишился власти,
И нет венца, и царства нет,
А только счастье, счастье!

1977



Ты мысль о мысли или скорбь о скорби?
Ты в воздухе, в воде или в огне?
Ты в алтаре? У лопаря ли в торбе?
Иль вправду царствие Твое во мне?

Но где ж его границы и заставы?
Где начинаюсь я? Где Твой предел?
Ужель за рубежом Твоей державы
Я — кость и мясо, тело среди тел?

Не я ли, как и Ты, невидим взору?
Не я ль в Тебе живу, как Ты во мне?
Не я ль, озлясь, испепелил Гоморру
И говорил, пылая в купине?

1977

В ХРАМЕ БОГИНИ КАЛИ

Здравствуй, Кали, жестокая мать!
По забрызганным кровью камням,
Не молельщик, не жрец, не взыматель,
Я вхожу в твой мучительный храм.

Только что я, козленок, заколот,
Но гляжу в удивленье немом:
Прежней жизни покинувший холод,
Запредельным я греюсь теплом.

Вот раскачиваюсь пред пришельцем
Из полуночного далека
Я-старушечка с высохшим тельцем,
И рукой — коготком голубка.

На земле, заболевшей проказой,
В смеси чада и влаги, стою,
Весь в грязи, пред тобою, трехглазой,
Но ты видишь ли душу мою?

Погаси во мне память преданья,
С разумением связь разорви,
Дай мне белую боль состраданья,
Дай мне черные слезы любви!

1978

В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ

Белеет над Псковом вечерняя пятница.
В скворешне с мотором туристы галдят.
Взяв мелочь привычно, старуха-привратница
Меня почему-то ведет через склад.

На миг отказавшись от мерзости всяческой,
Себе самому неожиданно странен,
Я в маленькой церковке старообрядческой —
Как некий сомнительный никонианин.

На ликах святых, избежавших татарщины,
Какой-то беззвучный и душный покой.
А самые ценные, слышал, растащены
В коммунные годы губернской рукой.

Ужели же церковка эта — отверстие
В эдемских вратах? И взыскующим града
Вползти в него может помочь двоеперстие?
Иль мы позабыли, что ползать не надо?

Я вышел. Я шел вместе с городом низменной
Дорогой, и вечера пил эликсир.
Нет Бога ни в каменной кладке, ни в письменной,
И в мире нет Бога. А в Боге — весь мир.

1978



Я сижу на ступеньках
Деревянного дома,
Между мною и смертью —
Пустьячок, идиома.

Пустьячок, идиома —
То ли тень водоема,
То ли давняя дрема,
То ли память погрома.

В этом странном понятии
Сочетаются травы,
И летающей братии
Золотые октавы,

Белый камень безликий
Трансформаторной будки
Там, где кровь земляники
Потемнела за сутки,

И беды с тишиною
Шепоток за стеною,
Между смертью и мною,
Между смертью и мною.

1978

В БРЮХОВИЧАХ

Всюду смешанный лес
Трех наречий славянства,
Русских вихрей шаманство,
Малороссии бес,
Польши чудное чванство.

А напрягши свой слух,
Ты поймешь: не случайно
И австрийское файно,
Но земли этой дух —
Беспросветная тайна

Гнезда вьют кобзари,
Слезы светятся в кроне,
В силлабическом стоне,
И полоска зари —
Как рушник на иконе.

— А давно ль ваш старик
Умер, пани Гелена?
Отвечает смиренно:
— Не пришел чоловик
Из сибирского плена.

Что за странный народ!
Плакал, резал премного,
А с подмостков пролога
Все никак не сойдет,
Все никак не найдет
Ни дороги, ни Бога.

1979

У ВРАТ

Когда я приникну к эдемским вратам
И станут меня вопрошать как пришедшего,
Быть может, на миг я задумаюсь там,
Но быстро пойму, что ответить мне нечего.

А как я хотел говорить! Я хотел
Еще еле слышное, — только одно еще! —
Исторгнуть дыханье из каменных тел,
Извлечь теплоту из застывшего гноища.

О как я хотел говорить!

1979

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

О том, как был с лица земного стерт
Мечом и пламенем свирепых орд

Восточный град, — сумел дойти до нас
Короткий выразительный рассказ:

„Они пришли, ограбили, сожгли,
Убили, уничтожили, ушли”.

О тех, кто ныне мир поверг во мрак,
Мы с той же краткостью расскажем так:

„Они пришли как мор, как черный сглаз,
И не ушли, а растворились в нас”.

1979



Над москательной клена
И кирпичами школы —
Воинская попона,
Облачные престолы.

Мне же не надо власти,
Что мне меч и кольчуга?
Есть в моем сердце счастье —
Ласковая подруга.

С нею осень моложе,
В окнах менее мутно.
Доброе утро, Боже!
Ангелы, доброе утро!

1979

ИЛЬИЧЕВСК

Вблизи владений Посейдона
В степи таинственно простерт
Вдоль влаги иссиня-зеленой
Огромный современный порт.

Но лик подняв в курчавой пене
Над призрачностью якорей,
Не видит кранов и строений
Все вечный властелин морей.

Пред ним все так же неизменно
Беззвучен, пуст простор степной,
Лишь непослушная сирена
Хохочет, прячась за волной.

1979

ОН, Я И ТЫ

Уже ему казалось: он всемогущ.
Из словарей заветных доставал
Слова и твердой кистью рисовал,
Взяв краски из сверкающих красилок.

Уже торжествовал он, видя: раб
Есть раб и здравый разум возвеличен.
А Ты? А Ты сначала так был слаб,
Так неразумен и косноязычен.

Вдруг вспыхнул Ты, как в детстве летний дождь,
Слезой соловьиною скатился
И медленно мне дал такую мощь,
Что я в Твое подобье превратился.

1980



Ни на материнском языке,
Ни на русском, в сером армяке, —
Одинокая моя молитва:
„Мыслью оживи меня, Творец,
В сети улови меня, Ловец,
Чья всегда удачлива ловитва”.

И восстал из мертвых я, мертвец,
Принял в сердце боль и стыд сердец,
Мерзость и раскаянье порока,
И свободу я обрел в сетях,
И заснул с молитвой на устах,
И она теперь не одинока.

1980

ЧУЭТ

Он загорел изнутри, пока огонь
еще не доставал до него.
Гарау. „Торжествующая вера”

На Майорке умеют молиться,
Но посмотрит ли вправо иль влево, —
Пресвятая Льюкийская дева
Видит явно семитские лица.

На Майорке, где много соборов,
В стародавнее жаркое лето
Разжигали костер для чуэта.
Он был толст, как откормленный боров.

И пока еще плоть не пылала,
Восхищенные островитяне
Поспешали на площадь заране,
Где виднелся штандарт трибунала.

Восклицания и пересуды.
Пахло мясом, и мясо горело,
И кишки выпадали из тела
Осужденного, как у Иуды.

Остывала бесовская сера,
Еретически-медленно тлея.
Целовавшего крест иудея
Не спасла христианская вера.

Только в жилах у жителей бьются
Капли жгучей семитской отравы,
И на острове люди курчавы,
И печально глаза их смеются.

1980



Огнь связующий и жаркий,
Молнии двужальный меч,
Скинию потрясший гром —
Превращаются в помарки,
В тускло тлеющую речь
Под беспомощным пером.

В телефоне спрятан сыщик,
И подслушивает он:
Может, вслух я согрешу.
Я же только переписчик
Завещавшего закон:
Он слагает, я пишу.

1981

НОЕМИНЬ ГОВОРИТ НЕВЕСТКЕ-ВДОВЕ

„На долине тучной урожай возрос.
Радуется хлебу родич наш Вооз.

Вот он веет ночью на гумне ячмень.
Лучшие одежды на себя надень.

Опьяни седого мускусом и хной,
Пусть тебя пред всеми назовет женой.

Как хлебами стали полевые сны,
Праотцами станут и твои сыны.

Будет их потомок пастухом овец,
Руки сблизит с арфой, с головой — венец.

Меч его повергнет в трепет силачей,
Он звезду воздымет — шесть ее лучей.

Вырвут меч из ножен, вырвут рукоять,
Но звезде не смогут запретить сиять.

Чем страшнее будет на земле беда,
Тем сильнее будет на земле звезда.

Пламя душегубки, дым ее густой
С той соединятся дивною звездой,

И на Молдаванке, на восходе лет,
Мальчик примет в сердце шестиглавый свет”.

1981



Тот, кто ветру назначил вес,
Меру определил воде,
Молнии указал тропу
И дождю начертал устав, —
С тихой радостью мне сказал:
— Никогда тебя не убьют.
Разве можно разрушить прах
Или нищего разорить?

1981

В ИНДИЙСКОЙ МОЛЕЛЬНЕ

Вот иду я в молельне индийской
Босиком по цементному полу.
Внемлет Бог своему же глаголу,
Повторенному речью английской.

Меж гирлянд безуханных, но пышных,
Смотрят идолы в кроткой тревоге
На меня, на священника в тоге
И на свастику ариев пришлых.

Вам известно ли, здешние боги,
Вам, творцам и твореньям природы,
Как в далекие детские годы
Я стоял на дворе синагоги?

Пахло морем, — другим, европейским,
Юго-западным ветром дышалось,
Неземное в земном обнажалось,
Чудо делалось делом житейским.

Я почувствовал вдруг у колодца,
Виноградом увитого диким:
То, что кажется многоязыким,
Одинаково трепетно бьется,

Чем отдельнее, тем беспредельней,
И не знаю — то жрец полуголый
Или я возглашаю глаголы
По-английски в индийской молельне.

1981



Синий с зеленью раствор
Льется в окна в день весенний.
Разговор
Обо мне идет в геенне.

Над кипящею смолой
Замечались два шайтана,
И не злой
Нынче взгляд у капитана.

Над котлом своим хвостом
Он, как опахалом, машет:
„Подождем,
Этот жид у нас попляшет”.

Он в кипящую смолу
Смотрит, наклонившись низко,
А в углу
Красит губы машинистка.

1981

РАЗМЫШЛЕНИЯ АВРААМА У ЖЕРТВЕННИКА

1

Что испытывала мать,
Стоя у порога,
Прежде, чем домой позвать
Праотца иль Бога?

2

Как звались былых времен
Дети или внуки?
Тех ласкательных имен
Кто запомнил звуки?

3

И когда пред Всеблагим
Он главой поникнул, —
Милым именем каким
Отрока окликнул?

4

Наколел, связал дрова,
Нагрузил на сына.
Исаак молчал сперва.
Смолкла и долина.

5

А потом сказал отцу:
„Есть дрова, кресало,
Что ж не взяли мы овцу,
Чтобы жертвой стала?“

6

Был ответ: „Я чту, мой сын,
Господа приказы.
Для сожженья есть один
Агнец большеглазый.“

7

Поднимались по холмам.
Силу зной удвоил.
Меж деревьев Авраам
Жертвенник устроил.

8

Он разжег дрова, помог
Отроку раздеться,
И глядел он, и не мог
Вдоволь наглядеться.

9

С загорелой наготой,
С обещаньем мощи,
Был он строен, — молодой
Кедр ливанской рощи.

10

Тонкостан, верблюдоок,
Брови на излете,
И чудесно зрел росток
Крепкой крайней плоти.

11

„Я обрезал эту плоть,
Я не ждал укора.
Сам нарушил мой Господь
Слово договора.

12

Сын единственный умрет.
Как же, сверхстолетний,
Я могу родить народ,
Что песка несметней?

13

Да нужны ли мне стада,
Роды и колена,
Без тебя, моя звезда,
Мальчик мой бесценный?

14

Нет, пред Богом грешен я
Разуменьем скудным:
Разве может Судия
Быть неправосудным?

15

Нет, не глина я, хотя
Сотворен из праха,
И теперь мое дитя
В огонь войдет без страха.

16

Заповедал Судия:
„Народишь ты племя,
И твое умножу Я,
Умножая, семя”.

17

Смысл словес его глубок.
Рассуждая строго,
Бог есть мысль и мысль есть Бог,
Я — подобье Бога.

18

Не равняй людей с песком,
Звездами не числи:
Мысли в образе людском,
Все мы — божьи мысли.

19

Тлен — кресало и тесак,
Дерево сгорает.
Я есть мысль, мысль — Исаак,
Мысль не умирает.

20

Он взглянул — и обомлел:
Сын смотрел на пламя, —
Точно так же Бог смотрел,
Теми же глазами!

21

И с небес воззвал слуга,
Богу предстоящий,
И баран свои рога
Выдвинул из чащи.

1983

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ АВРААМА

1

Табунились табуны,
И стада ягнились,
И сияющие сны
Каждой ночью снились.

2

К небу воздух восходил
Свежим фимиамом,
И явился Михаил
Перед Авраамом:

3

„Ныне Бог меня послал
За твоей душою”.
Но старик еще желал
Жизнью жить земною.

4

Был он крепок, был не скуп,
Всех встречал с радушьем
И любил мамврийский дуб
Над шатром пастушьим.

5

Он сказал: „Я отдохну
Под господним кровом,
Но сперва на мир взгляну,
Сотворенный Словом”.

6

Михаил простер крыла,
Стала ночь светиться,
На степной простор сошла
Чудо-колесница.

7

Взвились вестник и старик
Вровень с небесами.
Беспредельный мир возник
Перед их глазами.

8

И увидел Авраам
Сверху, с колесницы,
Ложь, разбой, и блуд, и срам,
Плахи и темницы.

9

Вскрикнул: „Боже! Здесь позор!
Мир живет в безверьи!
На людей низвергни мор,
Пусть сожрут их звери!”

10

Но раздался Божий глас:
„Знай, в иных началах
Я миры творил не раз,
Тут же разрушал их.

11

То, что Словом создавал,
Было бессловесным.
Дух себя не узнавал
В облике телесном.

12

А вот этот мир — хорош,
Ибо в этом зданье
Правде уступает ложь,
Радости — страданье.

13

Ибо здесь любовь сладка, —
Не страшась брожения,
Пьют из чашечки цветка
Мед воображенья.

14

Этот грешный мир-дворец,
Город говорящих,
Ибо только я-Творец,
Нет других творящих.”

1981

ВОЕННАЯ ПЕСНЯ

Что ты заводишь песню военну
Г. Р. Державин

Серое небо. Травы сырые.
В яме икона панны Марии.
Враг отступает. Мы победили.
Думать не надо. Плакать нельзя.
Мертвый ягненок. Мертвые хаты.
Между развалин — наши солдаты.
В лагере пусто. Печи остыли.
Думать не надо. Плакать нельзя.

Страшно, ей-Богу, там, за фольварком.
Хлопцы, разлейте старку по чаркам.
Скоро в дорогу. Скоро награда,
А до парада плакать нельзя.
Черные печи да мыловарни.
Здесь потрудились прусские парни.
Где эти парни? Думать не надо.
Мы победили. Плакать нельзя.

В полураскрытом чреве вагона —
Голое тельце. Круг патефона.
Видимо, ветер вертит пластинку.
Слушать нет силы. Плакать нельзя.
В лагере смерти печи остыли.
Крутится песня. Мы победили.
Мама, закутай дочку в простынку,
Пой, балалайка, плакать нельзя.

1981

УЛИЦА В КАЛЬКУТТЕ

Обняла обезьянка маму,
Чтобы та ей дала орех.
Обняла обезьянка маму,
А дитя обманывать грех.
Убегает тропинка в яму,
Где влажна и грязна земля,
Убегает тропинка в яму,
Как испуганная змея.

Наших родичей куцехвостых
Забавляет автомобиль.
По понятиям куцехвостых
Этот мир не мираж, а быль.
Как вода стоячая — воздух.
И мы тонем в этой воде.
Как вода стоячая — воздух,
Мы не здесь, мы не там, мы нигде.

1981

МИМО РЫНКА

Мимо рынка, мимо гладиолусов
И картофеля, где очередь шумна,
Мимо самосвалов и автобусов,
Тротуаром, загрязненным дочерна,

Мимо вельзевуловых приспешников,
Окружающих меня со всех сторон,
Мимо ненавистников-кромешников,
Оскорбляющих сограждан в телефон, —

Поднимусь к высокому подножию,
И опять познав блаженное родство,
Подойду я к жертвеннику Божию,
К солнцу воли и веселья моего.

1981



Что ты узнал? Что поведал? Вотще
Все твои дни, труды и рассказы.
Близится тот, кто слышит Приказы, —
Первенец смерти тысячеглазый
С капелькой желчи на остром мече.

1982



Я принес вам свои раздумия,
Сны трепещущие свои, —
Отпрыск разума и безумия,
Родич голубя и змеи.

Я принес вам свои крамольности,
Я, пугающийся тюрьмы,
Тихо тлеющий пленник вольности,
Жаром веющий светоч тьмы.

Как я царствовал, раболепствуя,
Как я бедствовал на пиру!
Я принес вам свои молебствия,
Спойте их, когда я умру.

1982

ОСЕНЬ У МОРЯ

Пляж опустел. Волны в солнечных вспышках.
Яркий песок. Сонный толстый рыбак.
Чайки болтливые в белых манишках.
Черное сборище тощих собак.

У рыбака слишком женские груди.
Где теперь скумбрия, где камбала?
Старые люди, одесские люди
На лежаке забивают козла.

Как мне близка их безумная участь,
И ничего я не знаю свежей,
Чем вопросительной речи певучей,
Чем иронический смысл падежей.

Юноша, с бедностью южною споря,
Наспех из дома ушел своего,
И ничего не нашел вместо моря,
И не узнал ничего, ничего.

Как я пришел? Чьей прошел я тропюю?
Где разбросал разумения соль?
Жизнь моя, что же мне делать с тобою?
Что с тобой делать, плебейская боль?

Вот я вернулся, так поздно вернулся,
Так холодна в эту пору волна,
Вышел на берег, едва окунулся,
И оглянулся: густа и душна

Туча над морем. . .

1982

МЕЖДУ МОРЕМ И СТЕПЬЮ

Стебли скудного поля меж морем и степью;
Кукуруза обломана; тучей сплошной
Небо низко склонилось к сухому отрепью
Жестких трав. Накоец-то трамвай — и двойной!

Мне в лицо дышат люди, вагон наполняя.
Вот он дрогнул и двинулся вместе с грозой.
Нет, не ветви касаются стекол трамвая,
Это смерть меня пробует доброй косой.

1982

ДВУЕДИНСТВО

Есть двуединство: народ и религия,
И потому что они сочетались,
Правды взыскупя, отвергну вериги я
И не надену ни рясу, ни талес.

Нам в иероглифах внятна глаголица.
Каждый зачат в целомудренном лоне.
Каждый пусть Богу по-своему молится:
Так Он во гневе судил в Вавилоне.

В Польше по-польски цветет католичество,
В Индии боги — и ныне живые.
Русью не сделало русских язычество:
Ждет еще с верой слиянья Россия.

Кто мы? Жнецы перед новыми жатвами,
Путники в самом начале дороги.
Будем в мечети молчать с бодисатвами
И о Христе вспоминать в синагоге.

1983

ДВА ВОСЬМИСТИШИЯ

Пока я живу, я боюсь.
Боюсь, что убьют иль убьюсь.
Попойки столичной боюсь
И койки больничной боюсь.
Боюсь наступления дня.
Боюсь, что принудят меня
Покинуть Советский Союз.
Боюсь, что всего я боюсь.

Но плоть возвращу я во прах,
Умру — и погибнет мой страх.
Из чаши забвенья напьюсь, —
Пойму: ничего не боюсь.
Тревог не наследует смерть
И страха не ведает смерть.
О братья — костры, топоры,
О смелость и Смерть — две сестры.

1983

ДЕРЕВЕНЬКА

Хорошо белеют вдоль дорожки
Донника серебряные брошки,
Липу облетают мотыльки,
И большое облако в тумане,
Как беременная в сарафане,
Пухнет в мутном зеркале реки.

Деревеньку дьявол, что ль, пометил?
Утро здесь не возвещает петел,
И средь лип — ни всхлипов и ни снов,
Не звенит в коровнике подойник,
И молчит, как в саване покойник,
Длинный ряд пустых домов.

1983

НАДПИСЬ НА ВОСТОЧНОЙ КНИГЕ

Зачем непрочные страницы множить
И в упоенье, в темноте надменной
Выделять сомнительный товар?

Приходит время, как халиф Омар,
Чтоб ненароком книги уничтожить,
За исключением одной — священной.

1983



О как балдеет чужестранец
В ночном саду среди пустыни,
Когда впервые видит танец
Заискивающей рабыни.

О как звенят ее движенья,
То вихревидны, то округлы,
Как блещут жизнью украшенья
И глаз стопламенные угли.

А и там, за этим садом звездным,
Ползут пески, ползут кругами,
И слышно в их движенье грозном:
— Вы тоже станете песками.

1983

КРУГОЗОР

Зеленое, мокрое поле овса
С улыбкой — иль это смеется роса? —
Взирает на утренние небеса.

За полем, одетые в белый наряд,
Березы свершают старинный обряд,
Молитву они бессловесно творят.

А дальше, за рощей, впадает река
В другую реку, наклонившись слегка,
И старшей подруги вода ей сладка.

А дальше, где в гору идет колея,
Глушилок-страшилищ торчат острия,
А дальше, а дальше — Россия моя.

Россия мздоимцев, Россия хапуг,
Святых упований, и варварских вьюг,
И мерзко хмельных и угодливых слуг.

И пусть по России прошелся терпуг,
Россия — росой обласканный луг
И памятный первый погромный испуг.

1983

КАМЕНЬ

Я камень запомнил средь горных дорог.
Там травы не знают, что где-то их косят.
Он был одинок, как языческий бог,
Которому жертвы уже не приносят.

Он был равнодушен и к бегу машин,
И к тихим движеньям стареющих мулов,
При свете дневном оставался один
И ночью, в мерцании звезд и аулов.

Но было, ведь, было: молил его жрец
От глада и мора избавить селенья,
И жертвенник он вспоминал, и овец,
И сладостный запах священного тленья.

Столетия, как стадо, шли мимо него,
Но их замечать не хотел он упрямо.
Когда облака обступали его,
Он думал, что это развалины храма.

1983



Я знаю вместилище мрака,
Я с детской поры в нем живу,
О нем представленье, однако,
Неправильно по существу.

Во мраке есть жаркие полдни
И ярко пылает закат.
Деревья в садах не бесплодны
И скинии хлеба стоят.

В нем синее-синее небо,
Полны города суетой,
И даже свершается треба
Священником в церкви пустой.

1983

НАЧАЛО ЛЕТА

Дочь забудет, изменит жена, друг предаст, —
Все проходит, проходит. . .
Но ошибся безжалостный Экклезиаст,
Ничего не проходит.

Вновь рождается дочь, чтоб забыть об отце,
Вновь жена изменяет,
Снова друг предает, — и начало в конце
Ничего не меняет.

Но останется в сердце моем и твоём
То, что здесь происходит,
Ибо призрачна смерть и мы вечно живем,
Ничего не проходит.

Потому что осмысленно липа цветет,
Звонко думает птица,
Это было и будет всегда и уйдет,
Чтобы к нам возвратиться.

1983

КОНЦЕРТ В РЕЗИДЕНЦИИ ПОСЛА

Посольской елки разноцветный сон.
Еще рождественский сияет праздник.
Меж двух корфинских вычурных колонн
Играет пианист-отказник.

Он молод, бородат, щеголеват,
И кажется, от одного лишь взмаха
Двух рук — двух лебедей — звучат
Колоколами фуги Баха.

Ему внимают дамы и послы,
Священник православный из Дамаска.
Колонны, кресла сказочно белы,
Но мне мерещится другая сказка.

На палубе толпится нищета.
Что скрыто в будущем туманном?
Как жизнь пойдет? Как будет начата
Там — заново — за океаном?

Им суждено в Нью-Йорке позабыть
Погромы в Ковно, в Каменец-Подольске,
С акцентом по-английски говорить,
Как некогда по-русски и по-польски.

Я слышу бормотанье стариков,
Я вижу грязные трущобы
И женщин, но уже без париков,
Глядящих издали на небоскребы.

Малыш стоит в сторонке. Он затих
С улыбкою на личике нечистом.
Он слышит ангелов среди свалок городских,
Он станет знаменитым пианистом.

ПОЭМЫ

КЛАДБИЩЕ

1

Покров земли сырой, зелено-черный,
Объединил чиновников, купцов,
Певицу, вратаря футбольной сборной,
Глупцов и умных, щедрых и скупцов.

Мы чувствуем, — восходит свет соборный
Над местопребыванием мертвецов,
И остро удивляемся упорной
Настойчивости временных жильцов —

Своих усопших прикрепить к обрядам,
К священным знакам, званьям, должностям,
Их приобщить к сегодняшним страстям,

Как плиты приобщаются к оградкам,
И совершается без лишних слез
Покойника неспешный перенос.

2

Покойника неспешный перенос
От церкви к яме, купленной за взятку.
Все рос, а до могилы не дорос:
Скончался, — не включили в разрядку.

Хоть от начальства был родне разнос, —
Отпели по церковному порядку.
Зачем же он вносил партийный взнос,
Угодливую резал правду-матку?

Себя стыдом ни разу не казнил,
И смертью он себя не изменил,
Смерть стала, как и жизнь, рабой покорной.

А мясу все равно, где дотлевать :
Удобна деревянная кровать
И около кладбищенской уборной.

3

И около кладбищенской уборной,
О чем душа не знает ни одна,
Спит безымянно под травой сорной
Им брошенная первая жена.

Безлунной ночью, поймой приозерной,
Бежала из колхозного звена,
Спилась на фабрике — и в безнадзорной
Могиле успокоилась она.

С ним в городе она не повстречалась,
А с ним росла, любила и венчалась,
Обоих гнул и обманул колхоз.

Не пеночка ли тоненько запела?
Меж двух могил есть и живое тело —
На майском солнце греющийся пес.

4

На майском солнце греющийся пес —
Неприкасаемый в державе мертвых.
Вдруг, повернувшись, трет он свой расчес
О землю, прячущую распростертых.

Он болен. Вкусно пахнувший отброс
Не дразнит ни чутья, ни лап мухортых,
А что касается увядших роз
Или других цветов полуистертых, —

Он их не слышит. Оба мы больны.
И я принадлежу к презренной касте,
И я, как пес, забыл мечты и страсти,

И для меня во времени равны
Дыханье блеклых роз и запах хлорный,
Герой-пилот, советник ли надворный.

5

Герой-пилот, советник ли надворный, —
И тот, и этот выросли в избе.
Удачей, участью почти фольклорной,
Они обязаны самим себе.

Кто был возвышен службой ратоборной,
Кто — при царе — довлел иной судьбе,
Но хоть бы раз строптивый, несговорный
Проснулся ль дух в том иль другом рабе?

Здесь, в недрах, не найти бессмертной силы,
Здесь только сгустки крови, кости, жилы,
Заране сделанные на износ,

Над ними только святцы, только словник,
В котором тлеют летчик, иль чиновник,
Иль школьница под сенью двух берез.

6

О школьнице под сенью двух берез
Рассказывают знающие люди:
Девчонку изнасиловал матрос,
Потом отрезал губы ей и груди.

Судили — наказание понес:
Он в лагере среди мордвы и чуди. . .
Как тихо! Но, быть может, отзвук грез
Не смолк в обезображенном сосуде?

Мечтала стюардессой, что ли, стать,
С пилотом-мужем раз в три дня взлетать. . .
О беглый поцелуй и гул моторный!

Увы, догадка чересчур проста:
Что скажет нам святая немота,
Что памятник нам скажет рукотворный?

7

Что памятник нам скажет рукотворный?
Что каменная скажет голова?
Он был поэт. Слагал он стих отборный,
Рожденный, будто в праздник Рождества.

Крестьянин и гуляка подзаборный,
Какие, Боже, от творил слова!
Они раскинулись, как луг просторный,
И пахнут, как рязанская трава.

Он сам как слово пожелал родиться,
Но спит в сырой земле самоубийца,
И все же дух его прими, Христос!

А что пропеть уехавшему сыну,
Крамольнику, жиду наполовину,
Да и какой задать ему вопрос?

8

Да и какой задать ему вопрос?
Здрав штаны, бежать за комсомолом?
В деревне скоро лето, сенокос,
Но солнце смотрит глазом невеселым.

Крестьянин ноги из села унес,
И пышным не вернуть его глаголом.
Пошло все то, что было, под откос.
На мельницу не едут за помолом.

Так жизни закружилось колесо,
Что на Руси не нужен стал умелец
И сделался игрушкой земледелец,

Как в басенке предвидел Шамиссо. . .
С поэтом рядом спит помещик местный.
Друг другу были ли они известны?

9

Друг другу были ли они известны, —
Кудрявый босоногий паренек
И земец, дворянин мелкопоместный?
Был на его усадевке конек,

Но съел усадевку пожар окрестный,
Да что пожар — мгновенный огонек!
И вот в столице он — конторщик честный,
Голодный выдают ему паек.

Однажды в Стойло он забрел Пегаса,
Но не признал в поэте земляка.
Он рано смертного дождался часа,

По-разному душила их тоска,
Был звонкому не нужен бессловесный,
Когда носили свой наряд телесный.

10

Когда носили свой наряд телесный,
Сживались души лишь посредством уз,
Теперь, найдя земной или небесный
Приют, костей и мяса сбросив груз,

Поняв, что каждый день есть день воскресный,
Что поражение потерпел искус,
Они образовали свой чудесный,
Безбытный, целомудренный союз.

Для них многоименные могилы,
Где возле новоселов — старожилы,
Есть община, что тихо разрослась,

Где православный, иудей, католик —
В одном плоде суть совокупность долек.
Иль близость их позднее родилась?

11

Иль близость их позднее родилась?
Вот в рясе цвета грязного индиго,
За полцены о грешных помолясь,
Идет ко мне знакомец — поп-расстрига.

„Давай-ка выпьем, ханаанский князь!
Ах, Израилич, водка — та же книга!”
Садится на траву, перекрестясь,
На холмике — чекушка и коврига.

За что из причта выгнали? Молчит,
Но льются слезы черные обид,
Мол, у других — богатые приходы.

Мы оба не нужны. И мы больны
Сознанием малой и большой вины,
А в памяти — разрозненные годы.

12

И лишь когда, в разрозненные годы,
Я спутников терял во мгле путей,
И сердцем погружался в переводы
Мистических, старинных повестей,

И то, что пели в древности рапсоды,
Свежее было мнимых новостей, —
Я постигал отчаянье природы,
Внимавшей празднословию людей.

К ним обращался голос Откровенья,
А многие ль прислушались к Нему?
Но радостно поняв непрочность рвенья —

Любить, хвалить и украшать тюрьму,
И прутья плотской разорвав породы,
Их души вырвались в предел свободы.

13

Их души вырвались в предел свободы.
Поют и пляшут за стеной тела.
День выходной. Забыты все невзгоды.
Бежит проигрывателя игла.

Что им универсамы и заводы, —
Толпа по-деревенски весела.
Как Рим подмяли пришлые народы,
Подмяли город жители села.

Из их среды выходят прокуроры,
Официантки, дипломаты, воры,
Писатели, начальственная мразь.

И смотрят души на тела чужие,
На беглых в новосозданной России:
Меж ними на земле возникла связь.

14

Меж ними на земле возникла связь,
Но это смутно сознают живые,
И только после смерти возродясь,
Вдыхают воздух вольности впервые.

Но разве мы — лишь пепел, глина, грязь?
Иль наших женщин муки родовые —
Не Божья боль? Иль мы, соединясь
С ушедшими в пространства мировые,

Не можем зренье духа обрести
И жить должны в неволе, взаперти,
И в слепоте и духоте затворной

Не видеть, как сияет мир земной,
Как дышит воскресающей весной
Покров земли сырой, зелено-черный?

15

Покров земли сырой, зелено-черный,
Покойника неспешный перенос
И около кладбищенской уборной
На майском солнце греющийся пес.

Герой-пилот, советник ли надворный,
Иль школьница под сенью двух берез, —
Что памятник нам скажет рукотворный?
Да и какой задать ему вопрос?

Друг другу были ли они известны,
Когда носили свой наряд телесный,
Иль близость их позднее родилась?

И лишь когда, в разрозненные годы,
Их души вырвались в предел свободы,
Меж ними на земле возникла связь.

1979

ВЯЧЕСЛАВУ. ЖИЗНЬ ПЕРЕДЕЛКИНСКАЯ.

О, коль прекрасен мир! Что ж дух
мой бремени?
Державин. Евгению. Жизнь Званская.

Нам здешних жителей удобно разделить
На временных и постоянных.
Начнем же со вторых. Ну как не восхвалить
Семейство елей безымянных!

То наблюдатели писательских семейств,
Влиятельных и именитых,
Воспоминатели бесовских давних действий,
От новых порослей сокрытых.

Пойдем ли мысль берез — белопокровных жриц.
Всем чуждых в этом околотке,
В ветвях орешника густого щебет птиц,
Столь вопросительно-короткий,

Среди живых стволов мощь мнимую столбов,
Где взвизги суеты советской
Смешались с думою боярскою дубов
И сосен смутною стрелецкой,

Жасмина, ириса восточный обиход,
Роскошество произрастанья,
В то время, как в листьях незримая идет
Работа зрелого страданья,

Качает иван-чай ничтожные права,
Лелея колкую лиловость,
А подорожнику все это грын-трава,
Ему скучна любая новость.

Пойдем ли, почему замолкли соловьи,
А переимчивые славки
Бесмысленно свистят вдоль узкой колеи,
Ведущей к бакалейной лавке.

Угрюмо царствует глухонемая суть,
И лишь иной хриstopродавец
Вздыхает, сквозь кусты услышав шумный путь
В какой-то Малоярославец,

А то и грубый гул, среди прямых аллей,
Ассенизаторской машины,
И тех, чьи номера, начавшись с двух нулей,
Внушают трепет беспричинный,

И той, где мичманы, усевшись на корму,
Следят за полным адмиралом, —
Остановиться ли? Напомнить ли ему
Про службу под его началом? —

И той, что к трем часам, преодолев запрет,
Скрипя как будто бы с натуги,
Из дома творчества привозит нам обед
На имя Инниной подруги,

А до нее для нас еду, не трепеща,
Каверин заказал маститый,
Тогда поболее давали нам борща
И ели мы гарнир досыта.

Цыфирью выучен обозначать меню
Судков развозчик в куртке грязной. . .
О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бремени
Тревогой, слухом, грустью праздной?

Мы делим на двоих то борщ, то суп с лапшой
И с макаронами котлету.
Так радуйся же всей измученной душой
Врачебнодействию лету!

Мы в доме у вдовы Степанова живем.
Муж утонул, в пруде купаясь,
И так же, как всему, что двигалось кругом,
Безвольно смерти улыбаясь.

Впервые Хлебников был собран им в года
Цензуры не настолько строгой. . .
Я помню, брюки он подтягивал всегда,
Неловкий и коротконогий.

Беззвучно плакал он, истерзанный вконец
Алешей, сумасшедшим сыном.
Профессор, черни раб, несчастнейший отец,
Он обладал бесстрашьем львиным.

Он Заболоцкого упорно вызволял
Из лагеря и, молодея,
Поставить подписи он знатных заставлял,
И даже славного Корнея.

На кафедре своей отзаседав, жене
Кричал, покинув храм науки:
„Скорее ванну мне! Пришел я весь в говне!”
И нервно поправлял он брюки.

То было в дни, когда не в горсточках дворян,
Не в гущах гадов недобитых, —
В саду строительства открыли нам бурьян
В обрезанных космополитах.

А скольких до того, от утра допоздна,
На каждом новом перевале,
И жертв, и палачей сменялись имена, —
Все били и недобивали. . .

Заметили ли вы, что выглядит порой
Насельник вятский, вологодский
Германцем истинным? Казался немчурой
И аккуратный Заболоцкий.

Но чисто русское безумье было в нем
И бурь подавленных величье,
Обзриутский бред союзничал с огнем
И зажигал глаза мужичьи.

Он у Кавериных нашел покой и дом,
Но помнил лагерь Казахстана,
А я квартировал вблизи, и мы вдвоем
Садилась в поезд постоянно,

И возвращались мы в вечернем феврале,
Сходясь на Киевском вокзале.
Вольготно водочкой с икоркой на столе
При корифее торговали!

С подначкой, с шуточкой, — у каждого портфель, —
Откушали — я сто, он — двести,
И в пригородный! Пусть шумит себе метель,
Мы будем через час на месте.

Но что с ним? Оборвал свой смех. Взгляд напряжен.
Смотрю туда же: грязь, окурки,
Две теткы на скамье, а третий, — кто же он?
Очки. Треух. Тулупчик. Бурки.

„А в тамбуре — второй. Сейчас меня возьмут”.
Застывший взгляд и дробный шепот.
О, долгий ужас тех мистических минут,
О, их бессмысленность и опыт!

Мы в Переделкине сошли. Сошел и тот.
А некто в форменной тужурке:
„Где будет Лукино?” „Вон там”. — И поворот,
И я оглядываюсь: бурки!

Оставили шоссе. Свернули в Лукино.
Дошли проулками до дачи.
Безлюдно и черно. Чуть светится окно.
Есть водка. Будет чай горячий.

Волнуются жена и дети. Впятером
Ждем час и два. Ну, слава Богу —
Ошибка: не пришли! И он, дыша теплом,
В себя приходит понемногу

И улыбается: „Начальника признать
Легко, а бурки — признак первый”.
А Катя: „Коленька, могу тебя понять,
В вагоне разыгрались нервы”.

Я знаю, что собрат зверей, растений, птиц, —
Боялся он до дней конечных
Волков-опричников, волков-самоубийц,
Волчиных мастеров заплечных. . .

Владельцы прежние забылись. Тот убит,
Тот умер, те в грязи застыли.
„Патрокла нет, но жив презрительный Терсит!” —
В классическом воскликнем стиле.

Здесь в молодости я кой у кого бывал.
Здесь, прячась куколкою в кокон,
Пильняк, сей шваб и баб любитель, самохвал,
Смотрел на пруд из верхних окон:

„Царила в страховой компании семья.
Любимец тетки-лютеранки,
Поверьте рыжему вралю, что вырос я
В том самом доме на Лубянке”.

Как в рыбьей чешуе — в японской шубе, франт,
Актер — и вдруг художник зрячий. . .
Дружил, ценя его неряшливый талант,
С ним Пастернак, сосед по даче.

Сюда заявятся порою книжный крот
Или славистка из Канады,
Но здесь теперь певец угрозыска живет
И лает мопс из-за ограды.

Кто вспомнит, кроме них, — офени-чудака
И старой стройной иностарнки, —
Как взяли, а потом убили Пильняка
В том самом доме на Лубянке.

Тогда-то Пастернак переменял жильё
И с вами повелось соседство,
Тогда-то вы ему доверили свое
Болезнью скошенное детство.

Такое же, как вы, но божество-дитя,
Он сам творил закономерность,
Доверьем радостным Ивановым платя
За их мужающую верность.

Там, где внизу река текла,
Полузадушена осокой,
На горке перед ним златились купола
Сияньем Индии далекой.

Когда из катакомб их вывел Константин,
Не знали храмов христиане.
Кто первым зодчим был, кто им воздвиг притин,
Найдя образчик в Хиндустане?

С тех пор и на Руси златятся купола,
Азийски, молодо круглятся,
И вьюга русская их чудно берегла
От нищей злобы святотатца.

Был в деда Пастернак, а тот, широкоплеч,
В Одессе промышлял извозом,
Но внука русская благословила речь
На службу соснам и березам.

И, может быть, решив, что на Руси святой
Поэта нет вне православья,
За христианскою пошел он красотой,
Как бы на поиск равноправья?

Не сразу понял он, что кесарь наш — злодей,
 Что смерть луга кругом косила.
Не сразу сделалась понятной для властей
 Его смущающая сила.

Он вашего отца „берложным” называл —
 Сибиряка с кипчакским глазом,
Кто в тайном тайное нашел, кто волновал
 То странной выдумкой, то сказом.

Вас полюбил поэт в начале ваших дней,
 И вы, забав не зная детских,
С ним шли среди корней, что были вам трудней
 Корней хурритских или хеттских.

Давно ль стихи мальчика хвалил он — и не раз, —
 Но трубно, путанно и длинно,
И чем-то удивлен, он вскидывал на вас
 Глаза коня и бедуина.

Меж вашей улицей и кладбищем, где врос
 Он в землю, нежную до боли,
Где нынче широко распространил колхоз
 Свое картофельное поле,

Единоличник жил. Подумать: все — в числе,
 И только он — единоличник.
Прилежный белорусс, он родич был земле,
 Хоть праздновал Октябрь-Кастричник.

Хотел он власть признать, как сделал Пастернак,
 Но жить, как Пастернак, отдельно,
И был, как Пастернак, в метельный загнан мрак
 И яростью сожжен смертельной.

Единоличники дружили: наш чудной
 Поэт и пахарь сивоусый.
Остались на земле стихи, но со стерней
 Сравнивали хату белорусса.

Я помню летний день, и Ольгу на краю
Крыльца — с ее клеймом изгойства,
И в доме я в ногах у мертвеца стою
Средь горя, музыки, геройства.

А в чем геройство? В том, что мы пришли сюда,
Где вдруг осиротели птицы?
Где соглядатаи родились до стыда?
Где бородатый, смуглолицый,

Под зеленью стоял, задумавшись, босой
Философ Голосовкер Яков,
Для снимков привлекал славянской простотой
Американцев и поляков. . .

Да, не явились мы, чтоб исключить его,
И руки не взвились, как плети,
И дьявол не собрал сообщества всего,
Всех, водоплавающих в Лете.

Мы — Кукольников клан, Неведомских слои,
Бумажные кариатиды,
Хвостовых, Раичей, Маркевичей рои
И Баранцевичей подвиды, —

Как смеем хвастаться, что светел был порыв?
Нам надо, скопищу виновных,
У Господа просить, чтоб нас простив, укрыв,
Хоть отделил от злобесовых!

Прости меня, прости, прости, я виноват;
Я в маскарад втесался пестрый,
А как я был богат! Мне Гроссман был как брат,
Его душа с моею — сестры.

Предмартовская нас тесней слила беда;
Делили крышу и печали;
Так почему же я безмолствовал, когда
Его роман арестовали?

Всегда вини себя, а время не порочь.
Ты будь с собой, а не со всеми.
Ты лучших ждешь времен, но истина есть дочь
В твою родившаяся время.

Тебя пугает власть? Не бойся, ты силен,
Пока для жизни предстоящей
Есть Промысл о тебе и есть в тебе Закон,
Возникший в купине горящей.

Как мил мне Божий мир! В набухших облаках
Прогалины лазури тонкой,
И пятна бузины — как кровь на локотках
В кустах бегущего внучонка,

И дождь, когда влажны крапива у оград
И пижмы желтое суконце,
И кажется, что лес — не лес, а вертоград,
И, как вино, вкушаешь солнце,

И та лощина, где меж вязов-богачей
Осины жмутся, как неровни,
И, может, камушки — осколки кирпичей
Старинной сгубленной часовни.

Как много сгублено! Я видел сей содом:
Здесь, в страхе ночи деревенской,
Лев Каменев дрожал, с ума сходил Артем
И жег Париж Бруно Ясенский.

Здесь Бабель мне свою „Марию” подарил.
Зимой предсмертной наслаждаясь,
„От уз грамматики, — серьезно говорил, —
В Одессе я освобождаюсь:

К киоску подхожу: „Прошу стакан вода” . . .
Где эти речи озорные?
Где той зимы снега? Где той зимы среда?
Где Бабель и его Мария?

Где волк, который мог всплакнуть, задрал овцу,
И к вдохновенью приобщиться,
Над пропастью хитря, шатаясь, шел к концу,
Чтоб кончить как самоубийца?

Иные господа теперь гуляют здесь.
При встрече с нами отвернутся
Что принуждает их? Вражда? Бессилье? Спесь?
Боязнь к крамоле прикоснуться?

Рядятся призраки: вот барин — сановит
Хотя филером был когда-то;
Вот сельский лавочник; а вот полезный жид
С походкой члена юденрата.

Жестоки ли они? Хитры? Коварны? Вздор,
Не снисходи сердиться, Инна!
Жесток бывает зверь, и человек хитер,
И в хищности трава повинна.

Но где ты видела, чтоб хищным был предмет?
Чтобы хитрило неживое?
Их нет: для жизни нет, но и для смерти нет,
То морок, марево дурное.

Вон тот, с бородкою, растаял, как фантом.
Спустился вечер синеватый.
Давай-ка к Лидии Корнеевне зайдем.
К ней можно: час пошел девятый.

Один из тех, кто был никем, а стал никто,
Сказал с кавказским простодушьем:
„Мешает людям жить осиное гнездо.
Мы дом Чуковского разрушим”.

И в самом деле: дом, на воздухе держась,
И сыростью изъеден, рухнет.
Порвется ниточка — с прекрасным прошлым связь —
И драгоценный луч потухнет.

Но по ночам не спит владелица луча,
И свет бесстрашно укрепляя,
Она работает, не слушаясь врача,
Упрямая, полуслепая.

И память движется с воинственным пером
По всем путям и перепутьям. . .
Мы вечером сидим на лавочке втроем,
Беседуем, грустим и шутим.

Опоры кое-как подправить удалось
Гуманитариям-студентам,
И дыры залепить; до утра улеглось
Корыто старое с цементом.

Мы удивляемся тому, что день погас,
Но зорко смотрит лунным кругом,
И вспоминаем ту, кто связывает нас
С бессмертьем, с правотой, друг с другом.

1981—1982

СОДЕРЖАНИЕ

Стихотворения

„Есть прелесть горькая в моей судьбе”	9
Чабан	10
Городок	11
Баллада о нелепом случае.	13
Штабная симфония	14
Последнее тепло	16
У ручья.	17
Морю	18
На Тянь-шане	19
Тополя в Гунибе	20
Снова в Одессе	21
Сын и отец	23
Богородица.	25
Неприкасаемый.	27
Акулина Ивановна.	28
Заложник	30
Мертвым	31
Сад на краю пустыни	32
У гроба	33
То да се	34
Мой день.	35
Две ночи.	36
Молдавский язык	37
Волки.	39
Лунный свет	40
Геолог	42
Ереванская роза	43
Арагат	44
Чешский лес	46
Телефонная будка	48
После посещения дома Рембрандта	49
Происшествие	52
„Еще дыханье суеты”	53
Любовь.	54
Ночи в лесу.	55
Моисей	56
Современность	57
В кафе	58
Зола.	59
Союз	60
Размышления в Сараеве	61
Степная трава	63
Телега	64

Гончар	65
Закат в апреле.	66
На чужой квартире	67
Страх	68
Одесская синагога	69
Одесский переулок	71
Лира.	72
Бессребреник	73
Подражание Кабиру.	74
Белый пепел	75
Утренние покупки	76
Миндаль	78
Взгляд	79
Годовщина армянского горя	80
По дороге	82
Подъем.	83
„Еще и плотью не оделись души”	84
Армянский храм	85
Кочевой огонь.	86
Хаим	87
Вечереет	88
В голубом сосуде	89
„Когда болезненной душой устану	90
„В этом городе южном я маленький школьник”	91
Сад.	92
„Господин Весенний Ветер”	93
Когда в слова я буквы складывал.	94
Новая жизнь	95
„Заснуть и не проснуться”	96
„Доболеть, одолеть странный страх.	97
Индийский певец.	98
Мгновенье.	99
Город хвойных	100
Ночью.	101
„Ты мысль о мысли или скорбь о скорби?”	102
В храме богини Кали	103
В пятницу вечером.	104
„Я сижу на ступеньках”	105
В Брюховичах	106
У врат.	107
Короткие рассказы	108
„Над москательной клена”	109
Ильичевск.	110
Он, я и ты	111
„Ни на материнском языке”	112
Чуэт	113
„Огонь связующий и жаркий”	114
Ноеминь говорит невестке-вдове	115

„Тот, кто ветру назначил вес”	116
В индийской молельне	117
„Синий с зеленью раствор.	118
Размышления Авраама у жертвенника.	119
Последняя ночь Авраама	123
Военная песня	126
Улица в Калькутте.	127
Мимо рынка	128
„Что ты узнал? Что поверил? Вотще”	129
„Я принес вам свои раздумия”	130
Осень у моря.	131
Между морем и степью.	132
Двуединство	133
Два восьмистишия.	134
Деревенька	135
Надпись на восточной книге	136
„О как балдеет чужестранец	137
Кругозор	138
Камень	139
„Я знаю вместилище мрака”	140
Начало лета	141
Концерт в резиденции посла	142

Поэмы

Кладбище	145
Вячеславу. Жизнь Переделкинская	153

АРДИС

- В. Набоков, БЛЕДНЫЙ ОГОНЬ (1983)
В. Ходасевич, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (1983-)
Саша Соколов, ПАЛИСАНДРИЯ (1984)
В. Войнович, ВЫБОР (1984)
С. Довлатов, НАШИ (1983)
И. Бродский, НОВЫЕ СТАНСЫ К АВГУСТЕ (1983)
М. Булгаков, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ (1982-)
В. Аксенов, БУМАЖНЫЙ ПЕЙЗАЖ (1983)
Б. Кенжеев, ИЗБРАННАЯ ЛИРИКА (1984)
Ф. Берман, РЕГИСТРАТОР (1984)
С. Липкин, КОЧЕВОЙ ОГОНЬ (1984)
В. Набоков, ПЕРЕПИСКА С СЕСТРОЙ (1984)
А. Гладилин, БОЛЬШОЙ БЕГОВОЙ ДЕНЬ (1983)
О. Мандельштам, ПРОЗА (1983)
А. Зеркалов, ЕВАНГЕЛИЕ М. БУЛГАКОВА (1984)
И. Лиснянская, НА ОПУШКЕ СНА (1984)
В. Войнович, ТРИБУНАЛ (1984)
В. Набоков, ПНИН (1983)
И. Бродский, УРАНИЯ (1984)
И. Бродский, МРАМОР (1984)
Р. Орлова и Л. Копелев, ТРИ ПОРТРЕТА (1984)
Ю. Милославский, ОТ ШУМА ВСАДНИКОВ И
СТРЕЛКОВ (1984)
М. Булгаков, ФОТОБИОГРАФИЯ (1984)
А. Цветков, ЯЗЫК ПЛАТОНОВА (1984)
К. Вагинов, ГАРПАГОНИАДА (1983)
О. Мандельштам, РАЗГОВОР О ДАНТЕ (1984)
Р. Орлова, ВОСПОМИНАНИЯ О НЕПРОШЕДШЕМ
ВРЕМЕНИ (1983)
В. Аксенов, СКАЖИ ИЗЮМ (1984)